

Григорий ФУКС
США, г. Лос-Анджелес



«КРЕМЛЕВСКИЙ РОМАН» Михаила Шолохова

(ГЛАВА ИЗ КНИГИ)

В публикуемой главе синонимом писательской совети Шолохова выступает Харламий Ермаков.

Харламий Васильевич Ермаков родился на хуторе Антиповском станицы Вешенской Области Войска Донского, ныне Шолоховский район Ростовской области, в семье донского казака. Участник Первой мировой войны, подбесаул, полный Георгиевский кавалер. В Гражданскую войну воевал как за белых, так и за красных, командовал 1-й повстанческой дивизией в Вешенском восстании, сдался в плен красным в 1920 году в Новороссийске, воевал в 1-й Конной армии на Польском и Врангелевском фронтах. Затем демобилизовался, жил в родном хуторе Базки. Сразу же стал преследоваться советской властью. Был судим, но оправдан за недостаточностью улик. Дружил с отцом Шолохова, который свел его с Ермаковым. Шолохов неоднократно с ним встречался и сделал прототипом Григория Меле-

хова в романе «Тихий Дон». Вся военная биография Мелехова повторяет биографию Ермакова. Многие события «Тихого Дона» описаны со слов Харлампия. Он также выведен в романе под собственным именем в период Вешенского казацкого восстания. Шолохов любил и уважал Ермакова, давал читать первые части «Тихого Дона». Накануне коллективизации, в 1927 году, Харламий был арестован и 17 июня того же года расстрелян в Ростовской тюрьме. Реабилитирован после смерти Шолохова в 1989 году. В 1980 году уральский рабочий Иван Колеганов на свои средства изготовил памятник Ермакову и установил его недалеко от хутора Калашенский. Его, по приказу властей, убрали. Но за него вступился Шолохов, и памятник передали дочери Ермакова. Сейчас он хранится в музее писателя в станице Вешенской.

*Гигантская статуя Сталина стояла на Волго-Доне —
очередном канале, построенном его заключенными.
Однажды смотритель, следивший за статуей, с ужасом обнаружил,
что птицы во время сезонных перелетов полюбили отдыхать на голове статуи.
Нетрудно представить, во что грозило обратиться лицо Вождя.*

Но птиц наказать нельзя.

А людей можно.

*И насмерть перепуганное руководство области нашло выход:
сквозь гигантскую голову пропустили ток высокого напряжения.*

Теперь статуя стояла, окруженная ковром из мертвых птиц.

*Каждое утро смотритель закапывал птичьи трупики,
и земля, удобренная ими, цвела.*

Кем он был для нас?

Эдвард Радзинский

Запаханная целина

I

Двадцать восьмого ноября 1930 года в 14.50 товарищ Сталин впервые увидел писателя Шолохова, а Шолохов, естественно, живьем, генерального секретаря. Согласно записи в журнале посетителей встреча длилась час десять минут. Это Шолохов отметил лично, глянув на часы, покидая кабинет. Он вышел из Кремля в приподнятом настроении, шагал и улыбался, удивляя прохожих. Идет в толпе лобастый человек и, несмотря на хмурый осенний день, светится без видимой причины. Не шел, а почти бежал, как потом признавался, мысленно повторяя: «Вот и познакомился с товарищем Сталиным. С самим генеральным секретарем. Толковал больше часа. Не одну трубку выкурил за этот срок. Ну и позавидует Васька Кудашев — журналист и писатель — закадычный московский дружок. Какой обаятельный этот товарищ Сталин, как был внимателен к моим нуждам и делам! Каждое слово товарища Сталина поднимало настроение и кружило голову. Чего только стоили первые слова: «Давно хотел лично с вами познакомиться, побеседовать». Кто он такой, Мишка Шолохов? Товарищу Сталину в сыновья годится. От роду всего ничего. Двадцать пять — разве возраст? Да и заслуг литературных особых нет. Правда, уже вышли две части «Тихого Дона». Пришлись ко двору. Фильм по ним отсняли, напечатали за границей. Но это такая малость в сравнении с событиями в

стране. Поговорили, естественно, о казацком романе, об источниках, из которых Шолохов черпал информацию.

Сталин предостерег от излишней доверчивости к отдельным авторам: «Много здесь отсебятины и просто вранья, каждый старается выставить свою роль в революции, показать личное участие в событиях...» Но, очевидно, не за этим пригласил товарищ Сталин молодого автора. И не для инструктажа перед поездкой в Германию и Италию. Хотя об этом, естественно, упомянул: «Посмотрите, что творится у немцев, там сейчас жесточайший кризис, сравните с нашими делами и событиями». Тут же заговорил о главном, ради чего пригласил Шолохова. Все сходялось на его кандидатуре. Во-первых, владеет пером, не как-нибудь, а талантливо, ярко, убедительно.

Отличное впечатление от страниц «Тихого Дона» подтверждали известные литераторы, и прежде всего Алексей Максимович. Во-вторых, казачок, как сразу его окрестил Сталин за полувоенную форму одежды, «был в теме» — проживал в станице среди крестьянской массы и не мог не быть в курсе ее проблем и настроений. Вот об этом и повел разговор. Партия решала аграрный вопрос комплексно, нажимала на крестьянство по всему фронту, и усилия репрессивно-административные не мешало подкрепить идеологически, и лучше не газетной пропагандой, а хорошим художественным словом. Этим и поделился с гостем.

«События развиваются грандиозные, нужен зоркий писательский глаз, как ваш, Михаил Александрович, чтоб внешнее и глубинное отра-

зились в художественных образах, ярких и убедительных, как ваши Мелехов и Аксинья».

Шолохов отреагировал активно, сказав, что сам станичник, ездит по хуторам и все видит в истинном свете в ломке устоявшихся быта и традиций, когда выходят наружу мысли и душа. Сталин кивал, помахивая трубкой, втолковывая Шолохову убедительно: «Нам так нужна книга о сегодняшней деревне, о полной коллективизации, об уничтожении кулачества...» Постучал ребром ладони по столу: «Хватит им мордовать бедняка и середняка, держать их в нищете и кабале. (Пауза.) Ваш «Тихий Дон» сам по себе, но не упустите момент и напишите о том, что сегодня происходит в деревне, такие острые конфликты, такие драматические судьбы... Природа человеческая на изломе. Вечный собственник уступит место колхознику — человеку совместного труда». Шолохов, поддавшись гипнозу Сталина, «ел» его взглядом и понятливо кивал.

Сталин говорил тихо, но отчетливо, интонацией подчеркивал важные места. Шолохова не могла не тронуть доверительная, как ему тогда казалось, откровенность Иосифа Виссарионовича. «Мы оказались в очень сложном положении, — делился Сталин сокровенным. — Ликвидировав частного в промышленности, сохранили его на земле. Получились несовместимые ножницы в природе социалистического общества. Пролетариат оказался в заложниках у частного крестьянского сектора. Мужик вырастил хлеб и держит его в закромах, ждет, когда в городах начнется голод и хлеб подорожает. Мужик хочет взять за горло советскую власть и диктовать ей свои условия жизни. Для чего, я вас спрашиваю, товарищ Шолохов, было пролито столько крови, загублены миллионы, чтоб получить такой результат. В стране должен быть один хозяин, а не сотни таких хозяйчиков, думающих не только о судьбе государства, а только о собственном благе. Мы не для того делали революцию, чтоб делиться с кем-либо властью, тем более с эксплуататором — кулаком. Мы не можем с этим мириться. Мы, — усмехнулся товарищ Сталин, — докатились до того, что винтовок производим втрое меньше, чем в шестнадцатом году. Кому нужен солдат без ружья? Это не солдат, а пугало огородное. А наш первый маршал товарищ Ворошилов вынужден просить у наркома Енукидзе, когда тот отъехал в

загранкомандировку, купить там для детей чулки и несколько пар носков».

Помолчав, товарищ Сталин поинтересовался: «Вы думаете, если мы не воюем, то кругом тишь да гладь, да божья благодать? С зимы 1921 года по сей день на наших границах было задержано свыше полумиллиона нарушителей, из них двадцать две тысячи триста сорок три шпиона и диверсанта. Доблестные пограничники обезвредили 1319 вооруженных банд, в которых пребывало 40 тысяч головорезов. Из них семь тысяч бандитов уничтожено. За это время наши товарищи потеряли тысяча восемьсот девяносто четыре бойца. Нас беззастенчиво грабили все кому не лень, запускали руку в наш народный карман. Только за один 1922 год молчаливые норвежцы перебили в наших водах девяносто тысяч тюленей. Браконьеров прикрывали военные корабли. У берегов Камчатки и Сахалина уважаемые потомки самураев промышляли наших крабов и выловили только за два года после смерти Ильича, в пересчете на консервы, триста восемнадцать ящиков консервов этого деликатеса. Все только потому, что мы не можем дать отпор этим зарвавшимся хапугам. Ни на севере, ни на Дальнем Востоке мы не имеем хороших военных кораблей. Сегодня нас грабят, а завтра позарятся на нашу землю. Япония давно мечтает о Дальнем Востоке, англичане о бакинской нефти, немцы об Украине. Кроме того, у нас масса внутренних проблем. Страна была на пороге голода. А крестьяне повсеместно придерживали хлеб. Им, видите ли, необходим широкий ассортимент товаров. Мыло подавай, соль, спички, керосин, деготь, краску, гвозди, вилы, топоры, стекло, хорошую обувь. Нам солдат обуть не во что, а им подавай сапоги, да еще из хрома; кожаные седла, лошадиную сбрую. Раскатали губу».

Шолохов подумал: «Знает товарищ Сталин крестьянские нужды. В курсе. В Вешках — пара сапог на семью, а так хоть мужики, хоть девки таскают круглый год неуклюжие чирики. Куда в них на танцы или в школу, срам». «Такие вот дела, уважаемый Михаил Александрович, — делился Сталин, прочищая затухшую трубку. — Вопрос ставят ребром — не дадите товар, не получите хлеб. Берут за горло кулацкие мироеды. Откуда брать деньги, чтоб поднять промышленность, снизить закупочные цены на зерно? Товарищ

Сталин лично в Сибири просил мужиков войти в положение: продать излишки, спасти рабочих, накормить солдат. А ответ один: жест из трех пальцев — кукиш то есть. Плевать им на страну, на мировую революцию, власть народа. В уме одно — лишь бы нажиться, набить брюхо. Забыли подлецы, как гнули спину на помещика. Дальше носа не видят. О продрозверстке не помнят. А тут просим — продайте — не силой берем, а предлагаем цену».

Михаил Александрович не хотел, а сомневался: «Сколько мир стоит — цену называет продавец. Конечно, можно торговаться. Но последнее слово — за купцом. Не хочешь, ступай мимо, но если брать силком — прямой грабеж». Сам себе объяснил: «Так было раньше при барах, в старое время. А теперь хозяев нет, власть народная, надо понимать и идти навстречу».

Будто читая его мысли, Сталин уточнял: «Никак не поймут государственных интересов. Загнали нас в угол. Либо советской власти погибнуть, либо взять у крестьян хлеб. Разумеется, не так грубо, как в Гражданскую, а создав колхозы, объединив земледельцев, изъязв кулака, в общую артель. Со своим уставом, выборным управлением, своей собственностью, но под контролем государства. Оно устанавливает цену и норму хлебосдачи».

Попыхивая трубкой, улыбался от удовольствия: то ли от дымка, то ли от своей придумки. «Все наделы сольются, межи запашем. Тракторам раздолье. Закупим тракторы за проданный хлеб на Западе. Потом выстроим свои заводы. Сто тысяч железных коней выпустим на простор. Выгребем крестьянские закрома до зернышка. Соберем 120 миллионов пудов. Конечно, будет не просто. Мужик привык работать на себя, самолично распоряжаться собранным зерном. А тут из хозяина превращается в батрака, запряженного в общую упряжку. Надо мужику помочь болеть за общее как за свое. Переживать за него душой, оберегать, стараться приумножать. Тут нужен, Михаил Александрович, ваш талант, ваше перо. Чтоб мужик осознал себя крепким хозяином, но болеющим не только за себя, а за общее дело, ставшее родным. Мы в вас верим и надеемся на успех книги. Потруднее, чем сделать белогвардейца красным. Там можно было прикрываться лозунгами, а тут нужно по-

казать товар лицом. Трудиться до седьмого пота.

Уважаемый Михаил Александрович, некоторые, с позволения сказать, товарищи считают товарища Сталина излишне мнительным и даже подозрительным — каким-то просто параноиком. Что, мол, ему в каждом темном углу мерещатся черти. Как человек неверующий, он не крестится в такие моменты, чтобы избавиться от нечисти. Товарищ Сталин давно не боится никаких чертей и привидений. Он привык верить только фактам, а они, как сам изволил выразиться, упрямая вещь. На конференции работников соцпромышленности он напомнил, что Россию все время били за отсталость, пускали, как говорится, юшку».

Шолохов слушал, запоминал, но не пытался возражать. Россию, конечно, били. Но скольких била она! И татаро-монголов, и немцев, и французов, и поляков, и турок. Кормила хлебом пол-Европы, поднимала заводы, обустроивала города. В грамоте, конечно, отставала, но зато каких писателей имела, ничем не уступая англичанам и французам. Революция ее крепко опустила. Но на то она и революция. Как пели, так и поступили: развалили мир до основания, а теперь самим поднимать. «Что посеешь, то и пожнешь», — мелькнула мысль у Шолохова. Но он ее припрятал поглубже. В кармане его гимнастерки лежал партбилет, указывающий направление мыслей.

Сталин гнул свою линию, изредка останавливаясь возле Шолохова. Поглядывая искоса на гостя, вдруг поинтересовался: «Вы с чем-то не согласны, товарищ Шолохов? Возражайте, пока мы одни». Но Шолохову нравились тракторы. Он видел их преимущество перед быками.

«Разумеется, — продолжил Сталин, — это не в бирюльки играть. С крестьянством в первую голову. Загнать единоличника в колхоз, оторвать от личного подворья потруднее, чем выстроить ДнепрогЭС. Но если человек тонет, его вытаскивают за волосы, не спрашивая, больно ему или нет. Согласен или не согласен. Тут не до церемоний. Промедление смерти подобно, как учил нас Владимир Ильич. В январе 1928 года нам показалось, что, как в годы продрозверстки, у нас хватит сил получить хлеб, который придерживали кулаки, обеспечив им армию и рабочих. Хлеб пошел. Но возникло массовое недовольство, чреватое левой антисоветчиной».

Поглядывая отечески на гостя, широко развел руки, как бы приглашая Шолохова в союзники. «Но к чему, Михаил Александрович, нам новая Вандея? Посмотрите, что творится в мире. Не только на Западе, где мы, как кость в горле, но и Восток настроен против нас. Не хватало заварить собственную кашу. Товарищ Сталин, остужая горячие партийные головы, предупреждал, что ошибаются те товарищи, которые надеются покончить с кулаком административными мерами через ГПУ и армию. Неумно и опасно воевать с собственным народом».

Сталин сделал большую паузу, будто давал высказаться Шолохову. Но тот ответ ограничил одним, но веским словом: «Правильно», понимал, что товарищ Сталин советуется в одностороннем порядке. Услышав такое веское одобрение, Сталин поблагодарил: «Спасибо за понимание, Михаил Александрович. Нам приятно чувствовать вашу поддержку. Вопрос стоит крайне остро. Речь идет о судьбе советской власти. Или мы преодолеем трудности, или нас сомнут. Наша промышленность отстает от передовых стран на 100–150 лет. Без стабильных поставок хлеба нам ее не поднять. А ходить с протянутой рукой и заискивать перед кулачеством пролетарской власти не к лицу. Вот почему мы, все взвесив и оценив, приняли план сплошной коллективизации крестьянства. Не осилим мужика в лоб — объедем на кривой».

Спросил у гостя, жестикулируя, как на трибуне: «У вас в станице много кулаков?» Шолохов ответил простодушно, сбрасывая сталинское наваждение: «Не так уж и много. Процента два-три». Сталин, будто недослышав, промолчал. Шолохов пояснил: «Зажиточные казаки есть, имеют справное хозяйство, работающие, непьющие. Настоящие труженики».

Сталин кивнул: «Труженики — это хорошо. Это нам на пользу. Лодыри колхозам ни к чему!» Шолохов без утайки заметил: «Им-то можно иметь излишки зерна». Сталин, встав, зашагал по кабинету, посасывая угасшую трубку. Наконец, как бы не понимая, поинтересовался: «А почему они не продают зерно? Не хотят помочь родному государству?» Шолохов, не мудрствуя лукаво, разъяснил как на духу: «Что вы, товарищ Сталин, они продают, еще как продают. Но купить на эти деньги ничего не могут. Не имеется

в торговой сети самого насущного, необходимого для крестьянской жизни: нет ни гвоздей, ни кровельного железа, ни обуви, ни одежды... Деньги становятся бумажками. Да и хлеб стоит дешево, а товары, если подкинут, втридорога. Получается нестыковка, товарищ Сталин, и, как говорили на XV съезде партии, — ножницы.

«Вот-вот, — оживился Сталин. — Ножницы имеют место, а скорее сказка про белого бычка. У нас действительно мало товаров, потому что промышленность буксует, а буксует из-за нехватки денег. Деньги может дать нам продажа хлеба за рубеж. Придерживает мужик хлеб, а промышленность не производит товары. Царская Россия торговала зерном. И буржуи, и помещики жили припеваючи. Разве не так, товарищ писатель?»

Получалось вроде так, как говорил товарищ Сталин. Укладывал он свои доводы, как хороший каменщик стенку из кирпича. «Мы же не просто толкаем в колхоз, — толковал товарищ Сталин, — как скотину в загон. Мы обеспечим хозяйства тракторами, комбайнами и прочей техникой. Создадим условия для производительности труда. Не на кулака станут батрачить, а на самих себя и рабочий класс».

Шолохов соглашался: «Донские казаки к коллективной жизни издавна привыкли. Когда надо, подсобляют один другому».

«Вот-вот», — закивал довольный Сталин и заулыбался доверчиво и радостно. Мимика у него была богатая, выражала тонкие оттенки настроения и мысли. «Душевный человек, — отметил Шолохов, — не пыжится и не чванится. Держится просто, будто давний знакомец, с которым не раз толковали за чаркой».

Признание Шолоховым коллективных начал у донских хуторян нашло у Сталина поддержку и понимание. Напомнил серьезно, без оттенка иронии: «В «Тихом Доне» Пантелей Прокофьевич приглашает соседку на рыбалку, а потом на сенокос, вместе трудиться сподручнее и приятнее. Из этого мы исходим, принимая решение о сплошной коллективизации». Шолохов, покоренный в тот момент теплотой и душевной открытостью Сталина, все его слова принимал на веру.

«Вы не сомневайтесь, товарищ Шолохов, — шурился генеральный секретарь, — не надо нас

упрекать в большевистском деспотизме. Гуманизм не может быть каким-то общечеловеческим, а только классовым гуманизмом». Говорил, будто рассуждая, высказывал не заученные истины, а осмысливал на ходу: «Владимир Ильич указывал на двойственность крестьянской психологии. С одной стороны — собственника, а с другой — труженика. Перед нами стоит грандиозная задача, равная построению социалистического общества. Мы должны покончить с мужицкой двойственностью, навсегда искоренить собственника, сохранив только труженика. Отучить крестьянина грести все под себя, а трудиться на благо общества под силу только большевикам. Но если мы сломили хребет буржуазии, разрушили прежнюю государственную машину, надеюсь, с перековкой мужика справимся. По забыв о личной выгоде, крестьяне станут считать общее своим, вкладывая в свой труд все силы и возможности. Такого еще не знал мир. Но он со многим знакомится впервые — с рабоче-крестьянским государством, строящим коммунистическое завтра». С хитринкой, так идущей ему, добавил: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, вы согласны, товарищ писатель?» Неожиданно поинтересовался, будто предложил: «Вы, Михаил Александрович, не планируете написать на подобную тему что-то значительное, впечатляющее о перековке донского казачества, переходе на социалистические рельсы? Поднять такую целину под силу вашему таланту».

Вопрос пришелся к месту. Шолохов, чуть помедлив, поделился: «Не только собираюсь, но по горячим следам засел за работу над романом о текущем моменте на Дону. Но события развиваются так стремительно, что боюсь упустить важное. Надо посмотреть, как будут развиваться события. Сколько драматического случается в судьбах людей, много и комического происходит на моих глазах. Садись за письменный стол и записывай готовые судьбы, готовые истории».

Сталин с удовольствием слушал Шолохова, был доволен своим расчетом: не напрасно пригласил Шолохова, попал в самую точку. С таким талантом, как у него, колхозной темы не испортишь. Шолохов уточнил: «Хочу ограничить свой творческий замысел только первыми периодами сплошной коллективизации, наперед не буду загадывать...» Если б он только знал, что случится

дальше. Но, как говорится, Господь отвел. А пока разговор принял любопытный характер. Сталин, поглядывая на неулыбчивого гостя, как всегда выискивал второй план, двойное дно. Следуя основоположнику марксизма, ничего не брал на веру, а все подвергал сомнению. Человек без хитринки был ему неинтересен. Шолохов не производил впечатление двурушника: отвечал прямо, не отводил глаз. Неужели автор «Тихого Дона», знаток человеческой души, тонкий психолог, совсем простак? Худшим качеством руководителя Сталин считал излишнюю доверчивость, когда тебя обводят вокруг пальца. Сталин не верил в непорочное зачатие и людей с крыльями за спиной. Разговор с Шолоховым его устраивал. Он получался полезным, интересным, но, к сожалению, не деловым. Только взаимная заинтересованность превращала отношения в реальность, наделяя полезными для дела обязательствами. Тогда появлялась гарантия результата. Пока разговор получался односторонним. Сталин свой интерес высказал, предложив написать о создании колхозов. Шолохов предложение принял, но не выставил встречных условий. Это Сталина не устраивало. Посасывая прогоревшую трубку, он раздумывал, как крепче привязать гостя к его обещанию, ускорить процесс работы. Но тут произошло желаемое. Шолохов сам попросил помощи. Тогда отношения становились деловыми. Шолохов искренне, вроде бы без задних мыслей (так подумал Сталин), пообещал, вернувшись из Италии от Горького, засесть за обещанный роман. Но тут, к удовольствию генсека, пожаловался: «Как садиться за новый роман, если третью книгу «Тихого Дона» руководители РАППа придерживают и не пускают в печать». Этого Сталин ждал, рассчитывал на такую просьбу. Скрывая хорошее настроение, отечески обнадежил: «Пожалуйста, не волнуйтесь за судьбу «Тихого Дона». Пройдет некоторое время, — в голосе Сталина прозвучали жесткие нотки, — руководители РАППа поймут, — тут он сделал утвердительный жест рукой, — что они погорячились со своей оценкой третьей книги романа». Слово «погорячились» он произнес подчеркнуто убедительно. «Горький почитает, еще кто-нибудь из значительных людей, и, надеюсь, положительно решат вопрос с вашей книгой». Спросил деликатно, понизив

голос: «Третья книга написана на таком же уровне, как две предыдущие?» Шолохов, получив такой сталинский аванс, встав со стула, по-мальчишески горячо заверил: «Лучше, товарищ Сталин, гораздо лучше. Первые две я написал на скорях, а эту — несколько лет».

Видя, что нужный разговор пошел, Сталин «подсек» Шолохова на очередной крючок, спросив как бы шутливо, покоряюще улыбнувшись, как из всех членов Политбюро мог только он: «Роман о коллективизации напишете лучше «Брусков»?»

Роман «Бруски» Федора Панфёрова на тему коллективизации нравился Сталину, но Шолоховым отвергался напрочь. Поэтому Шолохов отвечал горячась: «Не сомневайтесь, товарищ Сталин, гораздо лучше, потому что «Бруски» очень плохой роман. Панфёров, мой самый главный недруг, предлагает такие поправки, которые портят «Тихий Дон». Он знает мое отношение к его сочинению и будет мне мстить».

Горячность Шолохова нравилась Сталину: значит, будет стараться превзойти «Бруски». Генсек не скрывал эмоций. Играл лицом, как старательный актер. Похаживая вокруг Шолохова, чуть не пританцовывал (походку имел легкую), убеждал, успокаивал: «Повторяю, товарищ Шолохов, поезжайте спокойно в Сорренто, дайте почитать главы из третьей книги Горькому, заканчивайте роман без оглядки на Панфёровых, Авербахов, Фадеевых и прочих Киришиных». Добавил, поблескивая рыжими зрачками: «Все они — верные солдаты партии, разберутся, сделают правильные выводы. (Долгая пауза, характерный жест.) Не волнуйтесь. Мы им подсказем. Все будет хорошо».

У Шолохова и Сталина на душе был праздник. Сделка состоялась. Генсек выдал вексель, а Шолохову осталась отработка. Прощаясь, Сталин был исключительно доволен встречей, что сделал гостю царский подарок, дарованный немногим. Оказал высшее доверие и признание, разрешив взять у секретаря Поскребышева номер своего телефона, добавив при этом слова, где каждое стоило золота: «Звоните прямо мне». Это было выше любой награды: ордена, премии, звания. Такое не могло даже присниться. Когда начинающий писатель, молодой в сущности человек, не имеющий титулов и

наград, получил высший знак доверия, возможность в любое время, без предварительных договоренностей, набрать нужный номер и напрямую общаться с первым лицом государства. Давая телефон, товарищ Сталин подчеркнул особо: «Не стесняйтесь, если у вас возникнут какие-либо проблемы, трудности, предложения по улучшению государственной жизни, колхозного движения». Понимая особенности телефонной связи, дополнил, расширив шолоховские полномочия: «Можно обращаться и в письменной форме, как вам привычнее».

Итак, 28 ноября 1930 года между Вешенской и Кремлем был проложен прямой провод взаимного доверия и товарищеских отношений, а с другой — длинный поводок, на который был посажен великий писатель на долгие годы, до последних дней жизни. Не раз будет вызываться данный номер, помогая, как палочка-выручалочка, как сказочный пароль «сим-сим, открой дверь». И двери большей частью открывались.

II

Сталину пришлось ждать недолго. Уже через сполтора месяца после памятной встречи он получил из Вешенской конверт, датированный 16 января. Шолохов извинялся за письмо, но считал необходимым, пользуясь полученным правом, обратиться прямо к вождю. Откровенный тон письма Сталина озадачил. Партийные чиновники на местах старались сглаживать острые углы, отчитываясь за дела, выискивая в плохом что получше. А казачок рубил сплеча. Генсек усмехнулся понимающе: может себе такое позволить. Он, как поп, в стороне от дела, с него ничего не спросишь, а честная оценка так нужна. Шолохов приводил вопиющие факты: «Лошадей и быков пришлось с твердых кормов перевести на солому с мякиной... Они дошли до пределов истощения и в декабре от бескормицы началидохнуть. Сколь грозно положение, судите по следующим цифрам: в колхозе «Красный маяк» (колхоз считался примерным) из 65 лошадей издохло 12, ездят только на четырех, остальные лежат. В Новопавловском колхозе в 1-й бригаде из 180 лошадей к 12 января этого года осталось 67, 113 из-

дохло. Не лучше и в остальных бригадах. Ежедневно дохнет по 3-4 и больше лошадей... По Вешенскому району быков и лошадей издохло более 1000 голов. Если колхозы не будут в ближайшее время обеспечены кормом для скота, то к весне скота останется 20-30%, но и оставшиеся не будут в состоянии работать. А следовательно, создается самая непосредственная угроза посевной кампании. Товарищ Сталин, положение в районах большого Донецкого округа без преувеличения катастрофическое... Каждый день промедления стоит стране больше тысячи рублей. Таким хозяйствованием и единоличнику не докажешь преимущества колхозов перед единоличным хозяйством. Колхозники морально подавлены, и когда видишь их лица, когда они тянут трупы лошадей мимо дворов единоличников, у которых скот не дохнет и не поднимается за хвосты...»

Читая, Сталин хмурился, барабанил пальцами по столу. Особенно впечатлила фраза, что у единоличников скот не дохнет. «Дох бы у них — было бы куда политически лучше, — сожалел Сталин, — а так черт-те что». А Шолохов подливал масла в огонь, восклицая: «Горько, товарищ Сталин! Сердце кровью обливается, когда видишь все это своими глазами, когда говоришь с колхозниками и не видишь их глаз, опущенных в землю». А Шолохов не жалел красок, сыпал соль на болячки: «По слободам ходят чудовищно разжиревшие собаки, по шляхам валяются трупы лошадей...» Писатель не может не сгущать краски. Достаточно и без разжиревших собак. Эти разжиревшие собаки впечатлили Сталина сильнее сдохших лошадей. Он тоже был художественной натурой и временами мыслил образами. Тут же вызвал Поскребышева, почему-то накричал на него, будто тот был виноват в падеже скота, и велел незамедлительно отправить по востребованию три тысячи центнеров концентрированных кормов. Прямая связь Шолохов — Кремль начала давать результаты. А Сталин, успокоившись после «жиреющих собак», подумал, что правдивая информация, конечно, полезна, но в известной мере. Дай волю таким Шолоховым повсеместно — никаких резервов не наберешься, а придется латать дыры вместо продажи хлеба за рубеж.

Беседа с Шолоховым в Кремле, Сталин, го-

воря о коллективизации, не лукавил, но он и не раскрыл всей правды. Шолохов, слушая, поддакивал, не высказывал собственные сомнения и вопросы. Над преобразованием деревни Сталин и его сторонники в ЦК размышляли долго и всесторонне. В итоге был придуман проект, не имеющий аналогов в истории. Национализируя промышленность, большевики, согласно Марксу, «грабили награбленное», т.е. изымали у буржуазии недоплаченное пролетариату. С мужиком шагнули дальше. У них отбирали собственность, нажитую личным трудом, политую потом и добытую своим горбом. Национализация производства выглядела заурядным воровством в сравнении с грабежом крестьянства. В принципе, возвращались к продразверстке, заменив ею нэпмановский продналог, но придуманный иезуитским способом. При разверстке мужиков обдирали поодиночке. Это было хлопотно и трудоемко. Пойди догляди за каждым. Колхозная система позволяла обдирать всех сразу. Колхозы создавали, как известно, из личной собственности крестьян: земли, инвентаря, скота, не исключая поначалу мелкой живности. Чем зажиточнее были хозяева, тем богаче получался колхоз. Бедноты на Дону и Кубани было с гулькин нос. Потому наседали на середняка, угрожая, при отказе от коллективизации, записать в кулаки и отправить куда подальше. Вот такая была добровольность! Шолохов это видел и возмущался. Но, вспоминая добродушное, доверительное лицо Сталина, недоумевал. Почему нужно насаждать колхозы за один-два года? Почему люди сами не могут решать, жить им коллективно или врозь? Советовался с Харлампием Ермаковым. Тот возмущенно сокрушался: «Михаил Александрович, Михаил Александрович! Чего голову ломаешь? Какой колхоз из бедняков: ни скота, ни sprawy. Им потребуется туда мужик крепкий, зажиточный пайщик». Мысли, мысли не давали покоя, иногда опасные, несовместимые с линией партии.

«Разве кулаки — не трудовое крестьянство? Моего Коршунова из «Тихого Дона» называют кулаком, а он всю жизнь мокрый от пота, спину гнул, но только на себя, у него ладони, как подошва. Почему ему нет места на земле?» Харлампий возникал иногда без запроса, хмыкал, покачивая чубатой головой: «Да такие, как он,

при колхозах, как чирь на ж...пе. Колхозной жизни вечный укор». Шолохов не возражал. Не понимал: почему надо корчевать сельского частника? Он и возник в процессе НЭПа, вырос по ленинским заветам, а его грабили, как классового врага. Попробуй об этом заикнуться в романе. Сразу объявят врагом социализма, предателем интересов рабочих и крестьян. Кому охота лезть головой в петлю, прослыть троцкистом и уклонистом. Да и что тогда будет с «Тихим Доном»? Не видать новым книжкам белого свету, прервется судьба любимых героев, и Харлампий не узнает своего конца. «Нет, — сокрушался Шолохов, — назвался груздем, полезай в кузов». Обратной дороги нет. Да и как разойтись с товарищем Сталиным. Он один поддержит и поможет, защитит от собратьев по перу. Те взнуздали коня пролетарской культуры и гробят все, что не лезет в колею. Он вдруг подумал о гибели Харлампия и свел его гибель воедино с созданием колхозов. Загодя, заранее реформаторы деревни стали избавляться от бывших беляков, тех, кто ходил в станичных «бугорках» и мог помешать взнузданию мужичков. Тем более Ермаков при восстании не был рядовым, а считался генералом и вел за собой казацкие ряды.

Шолохов, тесно связанный с райкомами, знал о массовом истреблении «беляков». Число загубленных измерялось тысячами. Так расчищали дорогу к лучшей колхозной жизни. Задумывался, ломая голову, к кому бы приписали дорогое ему семейство Мелеховых? Сослали бы в Сибирь или загнали в колхоз. Добром Пантелей Прокофьевич туда не подался бы. Хозяйство его тянуло к середняцкому, но по принятым формулировкам сошел бы за подкулачника. А при предсовета вроде Мишки Кошевого угодил бы в полновесные кулаки. Ждало бы любезных сердцу Шолохова вечных тружеников семейства Мелеховых разграбление подворья, конфискация всего, что нажили собственным горбом. «Хорошо, что все померли и не дожили до такого», — втайне радовался автор «Тихого Дона» и стискивал голову крепкой пятерней. Как писать в такой обстановке роман, чтоб добрался до читателя, приглянулся власти и устроил недремлющего Харлампия? Он уже имел литературное имя и снижать марку не мог и не хотел. Душа его тянулась к труженикам, тем, кто горбатился до

синевы жил. Лучшие страницы «Тихого Дона» не о сабельных сшибках, а о трудовой страде. Где бы ни сражался его Григорий, в минуты затишья мечтал не об отдыхе, а о весенней пахоте или сенокосе.

Ни краем, ни боком само семейство Шолоховых не относилось к голытьбе. Отец — Александр Михайлович, переехав в начале 1917 года в хутор Плешаков Еланской станицы, поработав управляющим паровой мельницы, вскоре выкупил ее у купца Ивана Симонова за 70000 рублей золотом. Видимо, это были деньги семейные, наследственные, полученные им от матери, урожденной Марии Васильевны Моховой. Купеческие семьи Моховых и Шолоховых долгие десятилетия возглавляли торговлю в Вешенской и прилегающих к станице хуторах. В 1877 году было семь лавок купцов Моховых и восемь лавок купцов Шолоховых. Тесть Шолохова Петр Яковлевич Громославский был станичным атаманом... Не лежали шолоховские корни в бедняцком глиноземе, не батрачили на чужой земле, не имели под собой социальной подоплеки, что как дрожжи тесто выталкивает из квашни. Не знали причин для ломки устоев, оснований для классовой суеты.

В автобиографии в 1937 году Шолохов написал: «В Октябрьской революции я участия не принимал. В белой армии не служил, не был и в Красной Армии». Не командовал полком в 16 лет, как писатель Гайдар, не стоял у «стенки», как поэт Сурков, не партизанил в годы Гражданской, как Александр Фадеев, не был чапаевцем, как Фурманов. До тридцатого года, когда был принят кандидатом в партию, на Дону ни с кем из местных коммунистов не сходилась близко, не общался душевно. Попытки приписать Шолохову активное участие в те годы в делах советской власти не соответствуют реальности. Рассказы о ЧОНовской юности — чистый вымысел. На это намекал сам Шолохов, стараясь, очевидно, обелить социальные корни. Старой большевичке, москвичке Евгении Левицкой, которой позже посвятит рассказ «Судьба человека», писал летом 1929 года: «Я работал в жестокие годы, в 1921-22 годах, на продразверстке. Вел крутую линию, да и время было крутое: шибко комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти». При жизни Шолохова

такие факты публиковались трижды. Рассказывал сам, уточнял, в 1922 году ни продотрядов, ни бандитов на Дону уже не существовало.

Сказочной рисуется встреча юного Шолохова с батькой Махно. На вопрос батьки, где, в каких амбарах хранится семенной овес, юноша отвечал дерзко: «Ты что, на Дону хочешь не сеявши жать?» Знаешь ли поговорку: «Поехал за шерстью, гляди, вернешься остриженным». Махно, естественно, обозлился и велел за такую дерзость паренька повесить. Историки подмечают очевидные нелепости: конфискацией зерна у крестьян махновцы никогда не занимались, а, наоборот, реквизированную продотрядами пшеницу возвращали хлеборобам. Не могло быть речи о семенном овсе, когда в Каргинском, где был захвачен Шолохов, Махно находился 22–24 сентября 1920 года. Осенью, как известно, овес не сеют. Советологам очень хотелось видеть Шолохова где-то рядом с Николаем Островским. Его добровольцем записывают в продотряд, где он служит продармейским пулеметчиком. С пулеметом юный Миша никогда не знался, да и в продотряде не служил. Его обучали в Ростове сбору продналога. Превысить власть тоже не мог, так как никогда ее не имел. Не полагалась она налоговому инспектору. А под суд попал не за ее превышение, а за то, что в хуторе Пустовском не внес в описание ветряную мельницу. На это поступил донос, и Шолохова для острастки постановили расстрелять. Двое суток Миша дождался исполнения приговора, но вмешалась родня, да и по малолетству его отпустили к отцу на поруки. Красноармейский ореол не укладывался вокруг шолоховской головы. К концу Гражданской войны ему стукнуло только 15. Потому в ЧОН не брали. Правда, были среди ЧОНовцев малолетки, моложе Миши. Четверо — ровесники, восемь — младше Шолохова на год, двое — моложе на три. Но Шолохов в списках ЧОНовцев не значился. А если бы и значился, то для подвигов Вешенский ЧОН не предназначался. Ему полагалась лишь охрана ссыльных пунктов. И приступил к службе Вешенский взвод лишь в июне 1922 года, когда банды Фомина, Кондратова, Мелехова, способные посягнуть на амбары, были арестованы или разбиты. Так что будущий автор «Тихого Дона» не пролил, в отличие, скажем, от Фадеева, за советскую власть ни капли

крови и жизнью за нее не рисковал. Его друзьями, собеседниками, советчиками, приятелями были в основном уцелевшие станичники из белого казачества. И это не удивительно. В той или иной степени 75 процентов донских казаков воевали на стороне белых.

Секретарь Союза писателей СССР Владимир Ставский, посланный Сталиным в 1937 году в Вешенскую разбираться с жалобой Шолохова, в своем отчете, в частности, написал: «Лучше всего было бы для Шолохова (на которого и сейчас влияет жены родня — от нее прямо несет контрреволюцией) уехать из Вешенской». Подразумевался в первую очередь отец жены, бывший станичный атаман Петр Яковлевич Громославский, проживавший в семье Шолоховых. Контрреволюцией, в понимании Ставского, бесспорно несло от Харлампия Ермакова, казака Дроздова, в доме которого проживал какое-то время юный Михаил. Ни подростку Шолохову, ни, подавно, Ермакову не имелось ни малейшего резона тянуться к коммунисту Штокману и ему подобным. Мысли казака занимали работа, служба и семья.

Лучшие страницы «Тихого Дона» касаются этих сторон жизни. Работа для казака была началом начал. Выдвигая в хуторские атаманы Мирона Коршунова, выставляют главный довод: «Ты у нас в хуторе первый хозяин». Святая Григория за Наталью, сваха Василиса первым делом начинает стговор, напоминая, что «девка, каких по белу свету поискать! Работа варом в руках, что рукодельница». Мелеховы первым делом толкуют: «и семейство ихнее шибко работающее». Когда растерянная Аксинья предлагает Гришке, чтоб решить все проблемы, податься в другие края, он отвечает однозначно: «Куда же я от земли». Вся жизнь шла в труде, достаток доставался потом: «За житом не успели еще свозить с гумна — подошла и пшеница. Урожай, хвалили люди, добрый. Колос ядреный, зерно тяжеловесное, пухлое. За ответом, что сватали у Коршуновых, еще не ездили: тут покос подошел... Косить выехали в пятницу. В косилке шла тройка лошадей. Пантелей Прокофьевич подтёсывал на арбе лютьюю, готовил хода к возке хлеба... По степи, до голубенькой кромки горизонта, копошились люди. Стрекотали, чечекали ножи косилок, пятналась валами скошенного хлеба

степь... «Ишо два загона, и закурим», — сквозь свист крыльев крикнул, оборачиваясь, Петро. Григорий только кивнул. Обветренные перекосившиеся губы трудно было разжимать. Он скорее перехватил вилы, чтоб легче было метать тяжелые вороха хлеба, поровнее дышал. Мокрая от пота грудь чесалась. Из-под шляпы тек горький пот, попадая в глаза, щипал, как мыло. Остановив лошадей, напились и закурили...» Когда Мирон Коршунов раздумывал, отдавать Наталью за Мелехова или нет, просчитывал в голове резоны, признавал, что нравился Гришка за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. А жена нашептывала ночью: «Работящая семья и при достатке». Конечно, далеко было Мелеховым по части достатка до Коршуновых. Тех, доживи до сталинского геноцида, без вопросов занесли бы в кулаки (имели четырнадцать пар быков, косяк лошадей, полтора десятка коров, гурт в несколько сот овец...и т.д. и т.п). Но и у Мелеховых добра хватало: четыре пары быков, три коня, с десяток овец, несколько коров.

Мог ли Шолохов при его отношении к зажиточной мелеховской семье бросить камень, точнее бульжник, в таких же, как они, тружеников. Именно в те же сроки он работал одновременно над «Тихим Доном» и обещанной Сталину «Поднятой целиной». Получалась несовместимая ситуация: одной рукой он согревал и поддерживал Мелеховых, а другой — фактически собирался их же обобрать до нитки, отправить на лесоповал. Выбор выглядел бесчеловечным — лютому врагу не пожелаешь. Недремлющий Харлампий поглядывал с укором, выжидал, хмурия брови. Бессонные, черные донские ночи беззвучно подрагивали звездами. Было отчего ломать голову. Но Шолохов сумел совершить невозможное, балансируя над пропастью опалы, создать талантливую «Поднятую целину», принятую на «ура» властью, но сохранившую верность правде и недремлющему духу Харлампия.

III

Писать о коллективизации предстояло по-Пушкински, так гримируя правду, чтоб читатель, знакомясь с книгой, «над вымыслом обливается слезами» и радовался несуществующим

успехам. Оптимизм от зрелища пахоты тракторами растаял как дым от поборов с урожаем. Правительство оставляло хлеборобам лишь пятнадцать процентов, а восемьдесят пять отбирало. Казаки оставались без хлеба, кормов и многие даже без семенного фонда. Вольный хлебопашец, каким был казак не одно поколение, превращался в бесправного холопа. Председатели колхозов, отдававшие сначала зерно за трудодни, а потом рассчитывавшиеся с государством, приравнивались к врагам и выгонялись из партии. Шолохов, теряя последние иллюзии, разводил руками: «Сулили трактора не для помощи в труде, а чтоб, повысив урожайность, содрать с мужика семь шкур». Тогда он столкнулся с будущим Нагульновым — председателем райисполкома Слабченко, в прошлом бедняка, работающего на кулаков. Образование имел церковноприходское, но каждый свой шаг измерял с мировой революцией, ожидая ее прихода со дня на день. А тех, кто придерживал хлеб, думая, как прокормить семью, считал предателями и врагами. Как шолоховский Макар, был горяч и несдержан с врагами, ежечасно призывая к мировой революции, «холить ее, как любушку», и тратить на это жизнь.

Шолохов задавал себе вопрос и не находил ответа: «Почему колхозникам оставили только пятнадцать процентов урожая, а не хотя бы тридцать — тридцать пять». Он ездил по хуторам и станицам, убеждаясь, что норма хлебосдачи невыполнима. Председатели колхозов пожимали плечами и отводили глаза. Они лишь выполняли директивы «сверху», начиная от районного руководства и кончая кремлевской властью. «Может быть, и придумали колхозы, чтоб удобнее обирать крестьян», — отгонял такие мысли Шолохов. Это не укладывалось в голове. Но, вспоминая рассказы Харлампия, поражался его предвидению в разговорах с односельчанами: захватят власть пролетарии, заручаясь поддержкой крестьян, а потом запрягут, как быков в ярмо, и заставят пахать на себя. Обо всем увиденном он и написал первое письмо Сталину, о котором уже говорилось. А в книге ограничился раскулачиванием, понимая, что остальное не получится обратить в «потемкинские деревни». Как бы ни старался, «уши не спрятать». Однако главы «Поднятой целины» складывались быст-

ро. Авторская фантазия, тогда еще неуёмная, помогала маскировать острые углы. К концу тридцать первого года «Поднятая целина» была «распахана». Первый кусок романа уже стоял в наборе, а второй — в редакции журнала «Октябрь» встретили в штыхы. Не устроили сцены раскулачивания, сделанные остро и иронично. Маститые члены редколлегии Иван Гронский, Федор Гладков, Александр Малышкин предложили многое переделать. Единственное, на что Шолохов пошел, — это изменить название романа — первоначальное «Потом и кровью» на известное всем «Поднятая целина». Из «Октября» он передал роман в «Новый мир», но и там предложили существенную переделку. Шолохов отнес рукопись в «Красную новь». Редакторская игра в «пятый угол» ему поднадоела, и он уже знал, что журналы отличаются одним названием. Потому посчитал себя вправе позвонить по волшебному телефону. 28 декабря 1931 года Сталин назначил встречу своему протеже. Беседа продолжалась лишь пятнадцать минут с 20.30 до 20.45. Сталин не стал терять ни минуты на лишние разговоры. Выслушав «казачка», улыбаясь, посочувствовал: «Опять ставят палки в колеса ваши начальники. Сколько им ни говори, как горохом об стенку. Упрямые товарищи. И мы тоже не лыком шиты». Поинтересовался, принес ли Шолохов рукопись книги. Похвалил название. Хороший заголовок «Поднятая целина». В самое яблочко. Шолохов закивал, хотя раньше помалкивал. Название предложил вешенец Петро Луговой. А Сталин продолжил: «Сразу чем-то свежим заметным веет. Именно что мы сделали поднятой целиной».

Как обычно, прошагав по кабинету, подытожил: «Прочитаю рукопись, переговорю с товарищем, — и, встав рядом с Шолоховым, правой рукой разгоняя трубочный дым, с нажимом произнес: — Надеюсь, главный редактор нас поймет». Шолохов, тронутый разговором, посчитал уместным откликнуться статьей в «Правде» против преступной бесхозяйственности на колхозной земле в области и районе. Сталин одобрил предложение, оценив шаг Шолохова: — Нам критические статьи нужны». Еще раз подтвердил, кивнув: «Редакцию «Нового мира» мне удастся уговорить. Там упрямые товарищи, но ко мне иногда прислушиваются». Как бы

удивляясь, сказал: «Что там у нас за путаники сидят? Не побоялись с кулаками разобраться, чего ж нам теперь бояться писать об этом». Добродушно обнадежил гостя: «И третью книгу «Тихого Дона» напечатаем, и «Поднятую целину». Работайте спокойно, Михаил Александрович. Победа будет за нами». Однако, как понимал Шолохов, и после вмешательства Сталина ему предложили кое-что подправить, сгладить. Но главное, в конце 1932 года «Октябрь» начал публиковать шестую часть «Тихого Дона», а «Новый мир» — «Поднятую целину».

Работая над «Поднятой целиной», Шолохов незаметно для себя самого почувствовал себя соучастником колхозного строительства. Как подмечали педагоги прошлого: воспитывая других, воспитаешь себя. Он начал проникаться общественным сознанием, на что надеялся современный педагог — товарищ Сталин. Пора было Шолохову вспомнить обещанное, подготовить статью в «Правду». Все проблемные материалы, публикуемые газетой, Сталин по-редакторски читал в гранках. Поэтому со статьей Шолохова ознакомился накануне публикации. Текст ему понравился: казачок вскрывал вопиющие факты бесхозяйственности, относил их целиком на счет разгильдяйства и даже вредительства местной колхозно-совхозной администрации. Читая статью, Сталин сам проникался гневом и возмущением против преступного хозяйствования. Было отчего негодовать: в каком-то северо-западном совхозе №23 из 29 тысяч голов скота поморозили 26, не подготовив утепленных помещений. В Вешенском, родном Шолохову районе, заморозили сто телят. В Донской области сохранили лишь 30 процентов поголовья. Скот поддыхает с голоду, а вооруженная охрана Совхозпродкорма не подпускает к скирдам приехавшие за кормом за 10-15 километров подводы совхоза. «Более гнусное отношение к нуждам дела, служащего рабочему снабжению, трудно представить», — писал возмущенный Шолохов.

Прочитывая статью глазами Ермакова, автор не мог, при всем желании, не прореагировать, что до массовой коллективизации, при хозяйствах-единоличниках ничего подобного никогда не случалось. Не мерзла скотина не только массово, а даже в единичных случаях. Но Шо-

лохов, отвечая на заботу Сталина, выстроил статью с позиций государственных. Особенно генеральному секретарю пришлось по духу большевистские выводы автора: «Необходимо найти прямых и косвенных виновников падежа и сурово покарать их». «Это по-нашему, это по-сталински, — поглаживал усы Сталин. — Кажется, писатель Шолохов набирается ума-разума. Хоть бы не сглазить». Подумав так, Сталин постучал трижды по столу. Он не был суверен, но, пусть с долей процента, верил в народные приметы. Статья была удачной, но книга куда интереснее. Сталин прочитал рукопись за две ночи. Шолохов, получив номер «Нового мира» с главами романа, морщился от названия. Писал дорогой ему Евгении Григорьевне Левицкой: «На название до сей поры смотрю враждебно. Ну что за ужасное название. Аж самого иногда мутит. Досадно!»

Огорчало Шолохова не одно название. Бог с ним, с названием. На многое в колхозной жизни еще глядел глазами Харлампия. Как-то в Москве делился с Александром Фадеевым — тогда уже РАППовским генералом: «Душа болит за новые колхозы... Урожай собрали небольшой, а его выгребают чуть ли не до зернышка. Колхозники протестуют, но никто их не слушает. Перестали быть хозяевами своего труда. Вот что горько, душу гложет. Видно, Саша, поторопились мы с коллективизацией. У себя-то кто воровал? А тут во время сева колхозниками расхищается огромное количество зерна. Крадут обычно из сеялок, так как сеяльщик имеет полную возможность «экономить» на гектаре полпуда или пуд семенного зерна. Просто беда, воровство принимает массовый характер. А какой может быть урожай после такого сева? Сам понимаешь...»

Мысль обратиться с этой проблемой к Сталину подсказал Шолохову Фадеев. Шолохов за нее ухватился. В местном руководстве он уже разуверился, надеялся на авторитет генсека. В конце октября стал звонить Сталину с просьбой принять по важному делу. Зная, что разговор может оказаться коротким, изложил в письме факты воровства зерна. Небольшой текст с конкретными предложениями, как бороться с хищением, писал долго. Встревал Ермаков, сбивал с мысли, будто за руку дергал — укорял настойчиво: «Михаил Александрович,

слыхал, как такие письма называются? За такое мы устраивали «темную». Накрывали попоной и лупили ремнями. Ты ж своих сдаешь, трудяг казаков. Загнали в ярмо и дышать не даете. Они ж не для жиру, а от беды тянут. А тут такой поклеп!» Тяжелой рукой писалось письмо. Но все, что хотел, изложил подробно.

29 октября Шолохова пригласили в Кремль. Сталин был приветлив, встретил как своего. Три дня назад на встрече писателей с генсеком Фадеев произнес тост за здоровье Шолохова. Сталин тост поддержал, подойдя к Шолохову, коснулся его рюмки своей. Хороший был урок братьям по перу. Сталин напомнил об этом факте гостю, лукаво спросив: «Как вы, Михаил Александрович, считаете, я правильно поступил? Пусть видят и кусают локти. Видят ваше место в писательском строю».

Шолохов, пользуясь благоприятным моментом, вручил Сталину конверт. Сталин, не откладывая, тут же ознакомился. Читая, хмыкал и кивал головой. Содержание письма его несколько удивило. Не фактами воровства и конкретными предложениями. Не увязывалась тема с именем автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины». «Такие записки — дело ГПУшников или милиции», — думал Сталин, пробегая строчки: «Во время сева колхозниками расхищается огромное количество семенного зерна. Крадут обычно из сеялок... Хищение в ряде колхозов и районов носило массовый характер, а зачастую — и организованный. Когда бригадир действует по договоренности с сельчанами!.. Считаю, что для того, чтобы сеяльщик не мог произвольно изменить меру высева, необходимо произвести в сеялках следующие простые и не требующие никаких затрат приспособления: 1. На конце рычажка рукоятки, контролирующего аппарат по высеву, сделать отверстие. 2. В задней стенке семенного ящика, с левой стороны, наглухо ввинтить шуруп с петелькой и обязать членов правления колхозов, чтобы при установлении норм высева они продельвали следующую несложную операцию, которая не даст возможности сеяльщику уменьшить норму: соединяли куском шпагата или проволоки отверстие в рукоятке с петелькой шурупа и, завязав веревку, plombировали ее».

Сталин хмыкал от инженерных предложений Шолохова, оценивая его конструкторскую смет-

ку. Усмехаясь, думал: «Надо бы показать товарищу Менжинскому, пусть поучит своих орлов профессиональному отношению к работе». Задался вопросом: стал бы он, написав «Тихий Дон», сочинять такие опусы, и решил: пожалуй, нет. Но Шолохову Сталин, естественно, ничего не высказал, а поблагодарил за письмо. Озабоченно пожал плечами: «Беда с этими мужиками. Постоянно пытаются обвести нас вокруг пальца. При продразверстке укрывали хлеб, придерживали зерно при НЭПе, а теперь, вступив в колхоз, докатились до прямого воровства».

Подняв, как он любил, указательный палец, поинтересовался: «Вот вы, товарищ Шолохов, судя по всему, большой знаток крестьянской психологии, как считаете, нам удастся когда-нибудь перевоспитать мужика, изменить его частнособственническое нутро, или он так и будет трудиться из-под палки, не думая об интересах рабочих, пролетариев и государства?»

Не дождавшись ответа, продолжил: «В вашей «Поднятой целине» обрисован честный труженик середняк Майданников Кондрат. Побольше бы таких Кондратов. Его образ послужит многим назидательным примером».

Шолохов согласно закивал. «Такой Кондрат не один. По законам художественного замысла в роман всех не втиснешь». «Конечно», — согласился Сталин. Выразительно улыбаясь, одаривал Шолохова комплиментами: «У вас, Михаил Александрович, большое художественное дарование, к тому же вы и писатель глубоко добросовестный: пишете о вещах, хорошо известных вам». Заметив смущение собеседника и его попытку возразить, остановил движением руки: «Скромность украшает большевика, но товарищ Сталин не перебарщивает по вашему адресу. Помните, он говорил о писателях — инженерах человеческих душ. Так вот, прежде всего мы имели в виду таких писателей, как вы, автор замечательных книг. Удивительные, яркие фигуры рождаются из-под вашего пера».

Шолохов, пользуясь паузой, поделился: «Это у многих братьев по писательскому цеху вызывает раздражение и зависть. Мои герои не вписываются в принятые рамки социальных персонажей».

Сталин доверительно успокоил: «Пусть себе ворчат, а вы не обращайте внимания. Пишите

правду. Товарищ Сталин не господь бог, но в обиду друзей не дает». Момент показался Шолохову подходящим. Он достал из папки книжку в мягком переплете и протянул Сталину: «Это «Поднятая целина». Первое книжное издание». Сталин, прочитав авторское посвящение с напоминаниями о начатых переменах и дальнейшей запашке целины, тепло поблагодарил, одарив отеческой улыбкой, которой он пользовался редко и с большой разборчивостью. Пролистывая томик, с удовольствием отмечал на страницах запомнившиеся имена: Нагульнова, Давыдова, Шукаря... Поглядывая добродушно на автора, вдруг предложил: «А почему бы вам не оживить своих героев для сцены? Колоритные получатся фигуры, западут в душу зрителя. Одно дело чтение, а другое — исполнение талантливыми артистами. Одновременно и впечатление, и воспитательная польза». Поглядывая на Шолохова с только ему присущей хитринкой, пошутил: «Нам бы с вами сыграть в таком спектакле: вы — в роли Давыдова, а товарищ Сталин — Шукаря. Ему и грим не понадобится. Если только борода, вроде калининской». Засмеялся до слез такой фантазии. Улыбчивый Шолохов тоже чуть не расмеялся во весь рот, но сумел прервать смешок. Сталин, как обычно, проводил Шолохова, желанного гостя, до дверей кабинета. Прощаясь, снова напомнил: «Если возникнут какие-либо проблемы, пишите в ЦК, лично мне». Уходя, Шолохов глянул на часы. Беседа продолжалась пятьдесят минут.

IV

Сталин гордился «Поднятой целиной» не меньше, чем массовой коллективизацией. Авторская энергия, динамичный сюжет, колоритные персонажи и юмор создавали впечатляющий эффект. По сути, в этом Сталин отдавал себе отчет, шли похороны крестьянства, которое загоняли силком в резервации. Но у Шолохова это проходило не под траурные марши Шопена, что соответствовало ситуации, а под грохот барабанов и литавр. Получался пир во время чумы, где раздавались громкие призывы загонщиков: контуженого Макара, чужого для земли путиловца, недотепы Разметнова

и «коверного» Шукаря. Словно отпевали покойника, но бодрым мажорным тоном, разгоняющим скорбь и печаль. Короче, хоронили покойника, а как бы играли свадьбу.

Молодец «казачок», отмечал довольный Сталин. Только ему и Чехову такое по плечу. Уважаемый им автор «Скрипки Ротшильда» мог придать безобразному факту обратный смысл. В этом рассказе гробовщик Бронза, отведя заболевшую старуху к фельдшеру, ожидал приема «всего три часа». Ожидать три часа — полное головоутиение. Это, естественно, понятно читателю. Но классик добавляет слово «всего», и кой-кому кажется, три часа — терпимый пустячок. По-чеховски во многом поступал Шолохов, смягчая юмором безобразные факты раскулачивания и издевательств. Этим Сталин делился с Кагановичем и другими членами большевистского руководства. Все они потирали руки и нахваливали полезную партии книгу. Их можно было понять. Конечно, не «Поднятая целина» загоняла крестьянство в колхозы и удерживала в них. Но она поднимала настроение погонщикам и успокаивала совесть рабочих, искажая истинную картину. Так, немецкие обыватели понятия не имели, что рядом с их домами находились Маутхаузен и Бухенвальд. То же происходило с советскими гражданами. Главная сталинская задумка сработала и дала неожиданные даже им результаты: вместо 500-600 миллионов пудов хлеба, которые удалось выбить из единоличника, колхозы заготовили 1200-1400 миллионов пудов. Можно было с гордостью докладывать 7 января 1933 года на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б): партия добилась того, что СССР уже преобразован из страны мелкокрестьянского хозяйства в страну самого крупного сельского хозяйства в мире... Теперь остается задача сделать колхозы действительно большевистскими. Шолохова особенно поразил сталинский вывод: «Теперь крестьянин — обеспеченный хозяин, член колхоза, имеющий в своем распоряжении тракторы, сельхозмашины, семенные фонды и т.д. Вот что дала пятилетка бедноте и низшим слоям середняков».

Шолохов видел вокруг другое. По существу, вернулись к продрозверстке. Единоличные хо-

зяйства хотя бы не голодали. Но теперь крестьяне узнали беду. Он вспомнил свой продотряд. Голод тогда, сразу после Гражданской, был повсеместно. А он должен был собирать с умирающих налоги по всей строгости революционной правды. Тогда за спиной была Гражданская война, а теперь приближались к социализму. Не давал покоя Харлампий. Как молотком, стучал в голову: «Почему тогда в Кремле, 29 октября, передал Сталину кляузу, а о главном, голодоморе, позабыл или не решился сказать?» Шолохов не возражал. Да и не стал отмахиваться от Ермакова, а засел за письмо в Кремль. 4 апреля 1933 года отправил. До того был в расстроенных чувствах, что забыл написать в приветствии «Дорогой», а обратился необычно сухо: «тов.Сталин». «Вешенский район, наряду со многими другими районами Северокавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семена. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники, взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными корнями. 99% трудящегося населения терпят такое страшное бедствие».

Далее Шолохов писал, что с момента проведения сплошной коллективизации посевная площадь выросла почти втрое... «Сделано было много, что я попытаюсь отобразить во второй книге «Поднятой целины». Но сейчас все пошло на марку, и район стремительно приближается к катастрофе, предотвратить которую без вашей помощи невозможно». Словно прислушиваясь к упрекам Харлампия, вернулся к вопросу колхозного воровства зерна при посеве. Но комментировал этот факт совсем по-другому: «...крали зерно во время сева из сеялок. Но в этом деле бесспорно одно: воровали не из «любви к искусству» и не ради стяжения, а в большинстве случаев потому, что в 1931 году получили, по сути, полуголодную норму (8,5 пуда на едока) да из этой нормы весной 1932 года, когда край принял дополнительный план по пшенице, взяли на обсеменение часть выращенного осенью хлеба».

Написав эти строки, как бы глянул на Харлампия с молчаливым вопросом: «Теперь ты доволен, Харлампий Васильевич? Написал, как надо?» Досконально и подробно Шолохов рас-

сказал о низкой урожайности, ошибках комиссии, берущей цифры урожайности не по сути, а с потолка. «В общей сложности, — объяснил Шолохов, — валовая продукция в 1932 году едва превышала 56000-57000 тонн. Ее же определили в 83000 тонн. Просчитались... Миллиона на полтора пудов».

«Секретарь Северокавказского крайкома ВКП(б) т.Шеболдаев, — продолжил письмо Шолохов, — обвинил вешенское районное руководство в злостном преуменьшении урожайности, а «баланс» назвал «кулацким»... Вместо намечавшихся по балансу 22000 тонн хлебозаготовок он предложил сдать 53000 тонн и, соответственно с этим, пересоставить остальные статьи расхода по хлебофуражному балансу. Приказал направить в Вешенский район комиссию для установления дополнительной урожайности и в случае, если подтвердится преуменьшение урожайности, — районное руководство снимать и судить... При новом плане хлебозаготовок в 53000 тонн не выходило колхознику на трудодень по 1 кг хлеба». Шолохов объяснил последствия такого «планирования»: «Отсюда и началось массовое хищение хлеба. Колхозники рассуждали так: в 1931 году план мы выполнили с напряжением и весной на семена занимали у нас. А теперь, вместо обещанного в мае снижения, придется платить в два с половиной раза больше. Значит, хлеб заберут весь до зерна. Надо запастись. И стали запасаться, невзирая на постановление «Об охране общественной собственности» («Правда», 1932 год, 8 августа), где покушавшиеся на общественную собственность должны быть рассматриваемы как враги народа...» Воровали на покосе, на гумнах, всюду. И не только воровали, но и плохо работали. Как-то после дождя не раскидали для просушки мокрые копны. Обозленный, я спрашиваю у колхозников: «Почему не растрясаете копны?» Одна из бабенок мне объяснила: «План в нынешнем году дюже чижолый. Хлеб наш, как видно, весь за границу уплывет. Через то мы с ленцой и работаем, не спешим копны сушить. Нехай пшеница трошки подопрет. Прелая-то она за границе не нужна, а мы и такую поедим».

Шолохов, глазами Ермакова, представил себе выражение глаз товарища Сталина, читающего эти строки. Желтыми, звериными долж-

ны были сделаться глаза. Такими их Шолохов видел самолично, когда защищал уважительное описание генерала Корнилова в «Тихом Доне». Как мог реагировать генеральный секретарь на вражеские высказывания какой-то малограмотной бабенки, пытающейся ставить палки в колеса сталинского государства.

У Шолохова получалось не письмо, а скорее глава из никогда не написанного романа о подлинной, реальной коллективизации. В письме отсутствуют описание природы, любовные отношения, поэтические метафоры, так украшающие текст, нет живописных персонажей, народного юмора деда Шукаря. Письмо переполнено толстовской правдой, без которой в России писатель — не писатель, несвойственной и невозможной для советской подцензурной литературы.

Шолохов приводил факты: «Начались интенсивные поиски разворованного зерна. К 14 ноября было обыскано по району около 1500 хозяйств из общего количества 13813 хозяйств. План хлебозаготовок к середине ноября был выполнен на 82%. Но падающая кривая поступления хлеба не обеспечивала выполнения плана к сроку. Крайком отправил в Вешенский район особого уполномоченного Овчинникова. Постукивая по кобуре с наганом, он дает следующую установку: «Хлеб надо взять любой ценой! Будем давить так, что кровь брызнет! Дров наломать, но хлеб взять!» Отсюда и начинается «ломание дров». Овчинников провел следующие мероприятия, о разумности и законности которых судите сами:

- 1) Приказал изъять весь хлеб по всем хозяйствам района, в том числе и выданный в счет 15% аванса по трудодням.

- 2) Задолженность каждого колхоза разверстать по бригадам с тем, чтобы те разверстали по дворам... Какие же результаты дали эти мероприятия? Отыскивание и изъятие спрятанного и непрятого хлеба сопровождалось арестами и судом. Это обстоятельство понудило колхозников к массовому уничтожению хлеба...

Его стали выбрасывать в овраги, вывозить в степь и зарывать в сене, топить в колодцах и речках и пр. Району не хватило до 100% выполнения плана хлебозаготовок более 10700 тонн. В среднем на каждый двор приходилось

контрольное задание по 45-50 пудов (по сути, урожай с 2-3 гектаров)».

Шолохов не ограничился перечислением фактов, как в обычной канцелярской справке. Он позволил себе комментарии: «Произошло чудовищное, ни с чем не сравнимое смещение: пошло насмарку классовое расслоение (бедняки, середняки — плати по 30-40-50 пудов, а нет, исключают из колхоза, выгоняют из хаты на снег, конфискуют корову, картофель, соевые овощи, а то и все имущество, что называется, до нитки). Понятие «ударник» исчезло: 50 труднейшей у колхозника на книжке или 300, или 700. Мало того что у ударника отобрали ранее выданные 15% аванса. Его и по сдаче хлеба сравнивали с действительным вором и лодырем. Собрать 10000 тонн ворованного хлеба, т.е. такое количество, которого не было, — дело нелегкое... И начали по району с великим усердием «ломать дрова» и брать хлеб «любой ценой». Письма подобного содержания в то, сталинское, время, да и в наше тоже, лучше было не писать ни другу, ни подруге, ни куму, ни свату, ни черту, ни брату. Все они считались бы антисоветской пропагандой. И авторы попадали под 58 статью УК СССР. Но Шолохов писал не куму и свату, а главному организатору и вдохновителю «чудовищных», по определению писателя, ни с чем не сравнимых безобразий. Писал, как ни покажется невероятным, с разрешения этого организатора, имея, следовательно, охранную грамоту. Трудно утверждать безоговорочно, но такую привилегию, во всяком случае, из числа писателей, вряд ли кто имел.

Возможно, Шолохов предполагал, что Сталин находится в неведении, а он своим письмом открывает ему глаза. Эту мысль подтверждает персонаж его романа о войне, репрессированный генерал Стрельцов. Не знал ничего товарищ Сталин. Управлял с закрытыми глазами, а враги и негодяи из руководства на местах водили его за нос. Поэтому Шолохов резал правду-матку не таясь. «Наставлял на путь истинный».

В Вешенском районе два уполномоченных РК: Басов и другой товарищ, впервые применили впоследствии широчайше распространенный по району метод «допроса с пристрастием». В полночь вызывали в комсод по одному, сначала угрожали, допрашивая, а потом приме-

няли пытки: между пальцами клали карандаши и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить. В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивая по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос. В Лиховицком колхозе уполномоченный РК на бригадном собрании приказал колхозникам встать и продержал так 4 часа. Жалобы на «перегибы» руководством не принимались... Тот же Овчинников заявлял секретарю РК Кузнецову: «Ты думаешь, крайком не знает о перегибах? Знает, но молчит. Хлеб-то нужен. План-то надо выполнять». Потом Овчинников рассказал, что после Всесоюзной 16-й партконференции в Москве, на совещании с секретарями крайкомов, Молотов заявил: «Мы не дадим обиду тем, которых обвиняют сейчас в перегибах. Вопрос стоит так: или взять, даже поссорившись с крестьянами, или оставить голодным рабочею. Ясно, что мы предпочли первое».

Шолохов не мог не знать о месте Молотова в верхах. Вячеслав Михайлович был единственным человеком, с мнением которого считался Сталин. Не мог не понимать, что второй человек в государстве не краснея лицемерит, заботясь о рабочих. При карточной системе, что существовала до 1934 года, рабочим хватало хлеба. Партию заботил хлеб для экспорта. Но Шолохов, под диктовку душеприказчика Харлампия, «шел напрямки», резал правду без утайки... Крайкомовец Шарапов судил не только по количеству найденного хлеба, но и по числу семей, выкинутых из домов, по числу раскрытых при обыске крыш и разваленных печей. «Детишек им стало жалко выкидывать на мороз! Расслюнявился! Кулацкая жалость его одолела. Пусть как щенки пищат и дохнут, но саботаж мы ломаем!» — распекал на бюро Шарапов секретаря Малаковского колхоза за его колебания при выселении семей колхозников на улицу, на мороз. Шарапов не знал иного обращения, кроме как «сволочь», «подлец», «кусок слюнтая», «предатель», «сукин сын».

До чистки партии за полтора месяца из 1500 коммунистов было исключено более 300 человек. Исключали, тотчас же арестовывали и сни-

мали со снабжения как самого арестованного, так и его семью. Не получив хлеба, дети и жены арестованных коммунистов начали пухнуть от голода и ходить по хуторам в поисках «подавания». Исключение из партии, арест и голод грозили всякому коммунисту, который не проявил достаточной активности по части применения репрессий... То, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя назвать перегибами: людей пытали, как во времена средневековья, и не только пытали в комсодах, превращенных буквально в застенки, но и издевались над теми, кого пытали. Может быть, Шолохов задумывался: надо ли посвящать товарища Сталина в подробности пыток и издевательств? Но Харлампович настаивал однозначно: «Надо. Пусть знает вражина. Потеряет сон». И обласканный Сталиным писатель, признанный им талантливым и замечательным, за чье здоровье поднимал тост вождем, описывает покровителю преисподнюю. Приводит впечатляющую таблицу по Вешенскому району: «хозяйств — 13813, всего населения 52069. Число содержащихся под стражей, арестованных органами ОГПУ — 3128; из них приговоренных к расстрелу — 52. Осуждено по приговорам нарсууда и по постановлению коллегии ОГПУ — 2300. Исключено из колхоза хозяйств — 1947. Оштрафовано (изъято продовольствие и скот) — 3550; выселено из домов — 1090 хозяйств. При всех издевательствах, пытках и обысках хлеба найдено всего 5930 центнеров. Сюда вошел отобранный 15% аванс и даже хлеб, собранный еще единоличниками и сохраненный с 1919 года. А потом по урожайным годам: в 1924, 1926, 1928 годах. При выселении задолжников было официально строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью — будет сам выселен с семьей. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, слонялись около своих закрытых домов, а по ночам искали убежища от холода в сараях. Но по закону, принятому крайкомом, им нельзя было там ночевать. Председатели сельских советов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых

колхозников из домов на улицы. Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском Лебяженского района ночью на лютном ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на улицах костры и сидели возле огня. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве можно так издеваться над людьми! После приезда в Вешенскую секретаря крайкома Зимины выселенных стали преследовать еще круче. И выселенные стали замерзать. В Бадановском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь она ходила и просила, чтоб ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась... Число замерзших не установлено, т.к. этой статистикой никто не интересуется. Точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество взрослых и «цветов жизни» после двухмесячной зимовки на улице, после ночевки на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые останутся в живых, будут полукалеками».

Кажется, для товарища Сталина достаточно ужасов, но Шолохов его готовит к худшему: «Но выселение это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:

1. Массовое избиение колхозников и единоличников.

2. Сажали в «холодную». Есть яма, нет. Ступай, садись в амбар. Колхозников раздевают до белья и босых сажают в амбар или сарай. Время действия — январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами.

3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подола керосином, зажигали, а потом тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу». В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.

4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК, кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом прохладиться выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова

допрашивают. Он же, Плоткин, заставлял одного одиночника стреляться. Дал в руки наган и кричал: «Стреляйся, а нет — сам застрелю». Тот начал спускать курок (не зная, что наган разряжен) и, когда щелкнул боек, — упал в обморок. Сами факты вопиющие».

Но знать бы еще Сталину, а Шолохов не написал, что Плоткин — прообраз знаменитого Давыдова — председателя колхоза из «Поднятой целины». Вот такие нюансы. И что стал он таким ярлым дознавателем после того, как был наказан за недосдачу его колхозом хлеба государству.

«5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стручок красного перца (горчицы) и приказал не выходить из помещения. Этот же Аникеев при допросах в штабе колонны принуждал колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, пшеницей и керосином.

6. В Лебяжьем колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.

7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.

8. В Архиповском колхозе двух колхозниц Фомину и Краснову после ночного допроса вывели за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать на хутор рысью.

...10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой.

В том же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывали крыши домов, разваливали печи, понуждали женщин к сожительству.

11. В Солонцевском колхозе в помещении комсода человеческий труп положили на стол, в той же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.

12. В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выдворяли, босых же, на мороз.

13. В Колукраевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу.

14. Там же допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, били и допрашивали.

15. В Базакском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с полдороги возвращали, и так по несколько раз.

16. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с опергруппой проводил в Верхне-Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения, раздеваться не приказывали. Проводившие собрание сменялись, их было 5 человек, но колхозники были одни и те же. Собрание длилось без перерыва более суток.

Примеры эти можно бесконечно умножить. Это не отдельные случаи «загибов» Это — узаконенный в районном масштабе — «метод» проведения хлебозаготовок. Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко «В успокоенной деревне»? Так вот такое «исчезание» было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над сотнями тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и большой изощренности».

Не останавливаясь на изложенном, Шолохов продолжал раскрывать глаза Сталину на последствия его аграрной политики: «...Продовольственная помощь, оказываемая государством, явно недостаточна. Из 50000 населения голодают никак не меньше 49000. На эти 49000 получено 22000 пудов. Это на три месяца. Истощенные, опухшие колхозники, давшие стране 2300000 пудов хлеба, питающиеся в настоящее время черт знает чем, уже, наверное, не будут вырабатывать того, что вырабатывали в прошлом году. Но платить-то хлебный налог придется не с фактически засеянной площади, а с контрольной цифры присланного краем плана. Следовательно, история с хлебозаготовками 1932 повторится в 1933 году...»

Приводя эти дикие факты, Шолохов, под нажимом Харлампия, выписывал острые, явно «не по чину» предложения: «Расследовать надо не только дела тех, кто издевался над колхозниками и над советской властью, но и дела тех, чья рука направляла. Крайком пока ведет линию на привлечение к ответственности «стрелочников».

«Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК, — заканчивал письмо Шолохов, — пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, нев-

зирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это. Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районе, нельзя. Только на Вас надежда». Самым интересным для Сталина был, пожалуй, самый последний абзац, заслуживающий особого внимания. Фраза звучала любопытно: «Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создать последнюю книгу «Поднятой целины». С приветом, Шолохов».

«Правильно решил, — усмехнулся Сталин. — Ой, как напугал. Написать, допустим, написал бы, но кто б ее напечатал! Первую книгу и ту «причесали». А вторую, с приведенными фактами, похерили б навсегда. Да и потом, разве такие непривлекательные факты представляют художественную ценность? Для письма — годятся, для книги — нет. Личное письмо, не кому-нибудь, а товарищу Сталину, куда надежней. Никто не скажет, что сгущены краски, свалено в кучу все плохое, смакует недостатки. Товарищу Сталину такое в голову не придет. Он, слава богу, не литературный критик и не Авербах с Кирилоном. Да и с надеждой увидеть в печати дописанный «Тихий Дон» пришлось бы распрощаться. Так что уважаемый казачок поступил как надо. А к попыткам уколоть, зацепить товарищу Сталину не привыкать. Если справился с речистым Львом Давыдовичем, выпроводив куда подальше, то с Михаилом Александровичем удастся совладать. Казачок, конечно, талантище, но в политике — простак. Писал письмо, насупив брови. Почему «дорогим» не назвал? Ограничился официальным обращением и простился сухим «приветом».

Что Сталина интересовало, так это гласность письма. Многим ли оно читалось? Или Шолохов ограничился домашними, сохраняя конфиденциальность? Любопытно, бравитурит ли казачок своей «вхожестью» в Кремль? К генеральному секретарю лично. Всякие встречались Сталину говоруны. Но, кажется, Шолохов не из таких. А Шолохов, написав сердитое и правдивое письмо, не мог не думать, как встре-

тит его Сталин: насупит брови, обострит взгляд или иронично улыбнется мальчишеской дерзости автора? Но Сталин в отношениях с людьми оставался прежде всего политиком. Поэтому к шолоховскому письму так и отнесся, показав, что все изложенное воспринял как новость и очень всерьез. Получив письмо из Вешенской пятнадцатого апреля, уже шестнадцатого телеграфировал Шолохову: «Ваше письмо получил вчера. Спасибо за сообщение. Сделаем все, что требуется. Сообщите о размерах необходимой помощи. Назовите цифру. Сталин».

Необходимые цифры были у Шолохова под рукой. В тот же день он засел за ответное письмо. На этот раз начал словом: «Дорогой... Телеграмму Вашу получил сегодня. Потребность в продовольственной помощи для двух районов (Вешенского и Верхне-Донского), насчитывающих 92000 населения, исчисляется минимально в 160000 пудов. Из них для Вешенского района — 120000, и для Верхне-Донского — 40000. Это из расчета, что хлеба хватит до нового, т.е. на три месяца... Слов нет, не все перемерут даже в том случае, если государство вовсе нам его не даст. Некоторые семьи живут же без хлеба на водяных орехах и не падали от голода до самого декабря месяца. А таких «некоторых» у нас большинство. Теперь же по правобережью Дона появились суслики, и многие решительно оживились: едят сусликов вареных и жареных, на скотомогильники за падалью не ходят, а не так давно пожирали не только свежую падаль, но и пристрелянных сыпных лошадей, и собак, и кошек, и даже вываренную на салотопке, лишенную всякой питательности падаль...»

Читая такие факты, Сталин не мог не отметить: «Издевается, великий писатель, тычет носом в эту падаль. Готовы помочь в тот же день, а ему мало. Но ради дела придется стерпеть».

А Шолохов не мог остановиться: «Сейчас на полевых работах колхозник, вырабатывающий норму, получает 400 граммов хлеба в сутки. Но те из его семьи, которые не работают (дети, старики), ничего не получают. А много ли найдется таких, с закаменевшими сердцами, которые сами съедали бы эти разнесчастные 400 граммов, когда дома — пухлая семья. И вот такой ударник половину хлеба отдает детишкам, а сам тощает, тощает... Слабеет изо дня в день,

перестает выполнять норму, получает уже 200 граммов и под конец от истощения и всяческих переживаний ложится, как измученный бык, прямо на пахоте. Он же не только работать, но и по земле ходить-то не может. Так полутрупы с полей отвозят в хутора. А дома чем его голодная семья отпечалует? Поэтому я считаю 120000 пудов минимальной нормой для Вешенского района и для Верхне-Донского 40000. В среднем на душу выйдет по два пуда с фунтом на три месяца. Подмешивая к муке всякие корешки, проживут и работать будут как черти».

Сталин, читая, хмурился: «Щукарит казачок, насмехается. Ему бы наши заботы. Дальше носа не видит. Русскому мужику голодать не привыкать. Никогда не жировали, а тут разнюнились...»

Шолохов пекся о низкой выработке голодающих, что с севом отстают и вряд ли к сроку управятся, что скот от бескормицы падает и волов поднимают за хвосты... Отмечал, что виновные в перегибах не наказаны. Материал собран, а решения нет, крайком молчит. Последствия безобразий не устраняются. Не выполнивших задание по сдаче хлеба исключают из колхоза. Задание же не выполнило ни одно хозяйство в районе. Всего по району было исключено около 2000 хозяйств. Сейчас им не дают земли даже для посадки овощей. При таком положении вещей все эти семьи обречены на голодную смерть... За несдачу оштрафовали более 25% хозяйств (3350 на 24 января). Тысячами поступают жалобы, т.к. штрафовали и такие хозяйства, которые никогда не занимались сельским хозяйством и не были в поле (плотники, сапожники, портные, печники и пр.). Нарсуды сажали на 10 лет не только тех, кто воровал, но и тех, у кого находили хлеб с приусадебной земли, и тех, кто зарывал свои 15% аванса. По одному Вешенскому району осуждены 1700 человек. Теперь семьи их выселяют на север...

Шолохов торопился с ответом. Написал меньше, чем собирался. В концовке завершил письмо спокойно: «Ну, пожалуй, хватит утруждать Ваше внимание районными делами, да всего и не перескажешь. После Вашей телеграммы ожил и воспрянул духом. До этого было очень плохо. Письмо к Вам — единственное, что я написал с ноября прошлого года.

Для творческой работы последние полгода были выкинуты. Зато сейчас буду работать с удесятеренной энергией. Крепко жму Вашу руку. С приветом, М.Шолохов».

Концовка Сталину понравилась. Жаль, конечно, что забросил творчество. Но заботу оценил. Тут же сам написал Молотову: «Вячеслав, думаю, что надо удовлетворить просьбу Шолохова целиком, т.е. дать дополнительно Вешенской 80 тысяч пудов и верхнедонцам 40 тысяч. Дело это приняло, как видно, общенародную огласку, и мы (подчеркнуто) после всех допущенных безобразий можем только выиграть политически. Лишних 40-50 тысяч пудов для (курсив) нас значения не имеют, а для населения этих двух районов — имеют теперь решающее значение... Сталин».

Шолохов никогда не узнал про эту записку. А если б узнал, то, вероятно, поразился цинизму и иезуитскому смыслу. Жизнь десятков тысяч подчинялась политическому прагматизму кремлевских вождей. Если дело приняло, по трезвому рассуждению Сталина, общенародную огласку, надо этим воспользоваться и разыграть благотворительный спектакль. Объяснял давнишнему товарищу по ссылке: не стоит мелочиться — лишних 40-50 тысяч пудов для нас значения не имеют, в то время как для шолоховских земляков каждые сто граммов зерна означали жизнь или голодную смерть. Оканчивалась записка душевно и, если задуматься, зловеще: «Для населения этих двух районов (наша помощь. — *Авт.*) — имеет теперь решающее значение».

А сколько таких районов имелось на огромной территории страны: тысячи, десятки тысяч. Но к ним не протягивалась «рука Москвы». Заступники вроде Шолохова были как белые вороны. Вешенцам и верхнедонцам помогли, а остальные вымирали массово. Точных цифр умерших в голодомор нет. Те, что есть, явно занижены. Подсчет вела власть и за точными показателями не гналась. Шолохов не мог не знать, судя по кругу его чтения, что никогда, за всю историю, ни в одной стране, ни одна власть не сгубила столько народу, как советская, причем в мирное, не в военное время. Случались кровавые религиозные войны, но когда это было. Да и счет жертв шел на тысячи, а не на миллионы. Позднее, во второй половине XX века,

опыт большевиков повторили полпотовцы в Камбодже, хунвейбины в Китае. Шолохов в начале сороковых, естественно, не знал общих жертв коллективизации. Он радовался за своих казаков, спасенных товарищем Сталиным.

Шолохов отправил письмо в Москву 16 апреля, а в ответ уже 22-го получил «молнию» с отеческим замечанием вождя: «Ваше второе письмо только что получил. Хлеб в нужном количестве отправляем. Надо было прислать ответ не письмом, а телеграммой. Получилась потеря времени. Сталин».

Все же «бочку меда» генеральный секретарь решил «подпортить ложкой дегтя». Была бы переписка сугубо конфиденциальной, может быть, обошелся без «дегтя». Но она была публичной, а Сталин лицом не частным. Политическая линия партии требовала однозначной ясности. Вдогонку за телеграммой Сталин отправил директивное письмо. Оно уже не касалось практических дел, а носило теоретический характер: «Дорогой товарищ Шолохов... Оба Ваши письма получены, как Вам известно. Помощь, какую требовали, оказана уже. Для разбора дела прибудет к Вам в Вешенский район тов.Шкирятов, которому очень прошу Вас оказать помощь». То есть товарищ Сталин, посылая важного ревизора, наделял одновременно полномочиями и Шолохова. Это было высокое доверие, и Шолохов не мог его не оценить. Потом в письме проступала «горечь дегтя». «Это так. Но это не все, тов.Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят одностороннее впечатление. Об этом я хочу написать Вам несколько слов. Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию — без хлеба. Тот факт,

что саботаж был безобидный (без крови) — этот факт не лишен того, что уважаемые хлеборобы, по сути дела, вели «тихую войну» с советской властью. Войну на измор, дорогой товарищ Шолохов. Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виноватые в этих безобразиях должны понести должное наказание». Признав необходимость наказания работников, названных в письме «нашими», товарищ Сталин не мог не напомнить: «Это все же ясно как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали. Ну, всего хорошего, и жму Вашу руку. Ваш И.Сталин. 6.05.33 г.».

Шолохов был польщен таким откровенным, доверительным письмом. Читал его жене, свекру Петру Яковлевичу, райкомовским товарищам. Вот куда взлетел ваш Михаил. С ним сам товарищ Сталин ведет беседу на равных. Но с другой стороны, перечитывал письмо не раз, отмечал, что концы не сходятся с концами. Думал, советуясь с Ермаковым: «Харлампей, какой же это саботаж, если казаков обобрали как липку, не оставив хлеба на прокорм. Прячут, чтоб не помереть с голоду, честно заработанное зерно. Какая «война с советской властью», если хотят сберечь семью и себя. Их же товарищ Сталин называет врагами, которых надо обуздать. Какие они враги, если с кулаками давно посчитались, уничтожили как класс, отправив к черту на рога». Одно он понял четко, бесповоротно: второй книги «Поднятой целины» ему не дадут написать, как хотел бы, как смог. Слишком горячо для нынешнего времени. Да и товарища Сталина не хотелось огорчать. Коллективизация ему ближе, чем октябрьский переворот. Там он оставался на вторых ролях за Лениным, Свердловым, Троцким. А тут он — главный вдохновитель, законник, строитель вертикали власти, твердой, как алмаз. Шолохов себя успокаивал: Сталин ему доверяет, советуется, помогает. Разве можно с этим не считаться? Снова думал о «Тихом Доне». Главный его ребенок еще не окреп, еще не оперился. Надо его окончательно выпестовать и выпустить на белый свет. А без Сталина не получится, удушат в утробе. Сомневался, не знал, как быть. Письма Сталину, как тот указал, не беллетристика, а

сплошная политика. Ему хотелось показать сложность жизни образами, через острый сюжет и колочие подробности. Многоцветная, конфликтная окружающая жизнь просилась на бумагу, но Шолохов ушел с головой в повседневную практическую работу. Участвовал в комиссии Шкирятова. Шкирятов, имея указания генсека, взялся за проверку «снизу доверху». Его комиссия работала не покладая рук. Не повезло местной власти. А причиной были письма Шолохова. Шкирятов выпустил из заключения всех арестованных и осужденных, приказал освободить даже приговоренных к расстрелу и находящихся в тюрьмах в Миллерово, Новочеркасске... Потребовал восстановить исключенных из колхозов с компенсацией отобранного имущества и жилья.

Как Шолохов мог не оценить сталинской заботы, большевистской принципиальности на примере хотя бы двух, отдельно взятых районов. Итоги работы комиссии обсуждались на заседании Политбюро, куда был приглашен и Шолохов. 2 июня 1933 года в 12.45 товарищ Сталин, увидев Михаила Александровича, удостоил его сердечной улыбкой и крепким дружеским рукопожатием. Он был доволен своим протеже. Все изложенное им в письмах не оказалось наветом, а подтвердилось комиссией полностью. Политбюро в полном составе в присутствии Молотова, Кагановича, Ворошилова... аплодировало Шолохову за его большевистскую непреклонность и настойчивость. Два часа десять минут шло заседание, и все это время Сталин частенько поглядывал на Шолохова и одобрительно поощрял улыбкой. На следующий день Сталин, Каганович, Молотов продолжили обсуждение дел на Дону. В числе виновных в «перегибах» Шолохов привез в Москву Або Плоткина, того самого, с которого писал Семку Давыдова. Очень хотелось Сталину глянуть на героя «Поднятой целины». Когда большая группа «перегибщиков» вошла в кремлевский кабинет, Сталин взглядом попросил Шолохова обозначить Плоткина. После многочасовых разборок, где Шолохов играл заметную роль, Политбюро строго наказало виновных — не одних «стрелочников», но и секретарей крайкомов и горкома. «Стрелочникам», в их числе и Плоткину, закатали строгий выговор с предупреждением и запретом работать в Вешенском районе. Казалось бы, Плоткин расстраи-

вался, но он и Шолохов не скрывали радости. Дело в том, что в Москву Плоткина привезли из тюрьмы, куда он был посажен за серьезные перегибы, обозначенные самим Шолоховым в письме Сталину в Кремль. Плоткин дожидался в тюрьме приговора, судя по обстановке, сурового. Чтобы выручить своего «Семушку», Шолохов договорился со Шкирятовым «предъявить» того товарищу Сталину. Ход, прямо скажем, из мастерских. Сталин ход оценил, «подыграв» Шолохову с удовольствием. Ему нравились нестандартные решения. Почему не сделать приятное создателю колхозного вожака-путиловца двадцатипятилетия. Когда прощались, Шолохов, несмотря на постановление ЦК, попросил оставить Плоткина-Давыдова в Вешенской. Сталин, помня о грехах последнего, когда тот усаживал мужиков и баб на раскаленную лежанку, лукаво прищурившись, не удержался от вопроса: «А не боится ли уважаемый Або Аронович, что местные пострадавшие товарищи оторвут ему, извините, яйца? Дело серьезное, подумайте». Шолохов гарантировал их сохранность. Сталин улыбнулся: «Шолохову мы доверяем».

Шолохов испытывал радость победы. К его мнению прислушались Центральный Комитет, Политбюро и лично товарищ Сталин. Он активно участвовал в практической работе, подправлял «линию перегиба». Кроме того, сумел выволить из тюрьмы Андрея Плоткина. Харлампия не сумел сберечь, а Плоткина — удалось. Сталин, когда поглядывал на чернявого «прототипа», чему-то улыбался в усы. Не удержавшись, как-то полюбопытствовал, наклонившись вплотную к Плоткину: «Скажите, уважаемый, непристойную татуировку писатель Шолохов тоже списал с вашего живота или это плод его фантазии? Якорек вижу на вашей руке, какой имелся у товарища Давыдова. Может, остальное тоже имеет место быть?» Плоткин, засмутившись, покачал отрицательно головой. Сталин, пригладив бровь, хмыкнул: «Это в корне меняет дело. Значит, писатель Шолохов — большой шутник. К чему хорошему человеку приписывать неприличную похабщину? Полюбопытствовал, правда ли Плоткин пострадал от баб или тоже авторская выдумка. На этот раз Плоткин утвердительно закивал. Только били не за зерно, а за другое. «За битого двух небитых дают,

— посмеялся Сталин. — Вы, товарищ председатель колхоза имени меня, пострадали за дело партии. А партия умеет ценить своих героев». Оглядывая Плоткина, при первой встрече отметил схожесть, вспомнив описание Давыдова. Широкий в груди, с непомерно крупными, как смолой налитыми глазами, с небольшим ястребиным носом... Прощаясь при последней встрече, сделав паузу, по памяти прочитал почти полностью VIII главу «Поднятой целины», зорко поглядывая на автора и его прототипа. В главе, как известно, рассказывалось о раскулачивании Титка. Сталин произносил текст как очевидец, усиливая смысл подвижной мимикой: «Давыдов подошел к Титку: «Ты оружие-то отдай, гражданин! Так оно тебе спокойнее будет». — «Не было у меня оружия. Нагульнов это понастерке на меня». Титок улыбнулся, играя холодными глазами: «Ну что ж, придется тебя арестовать и отправить в район». «Меня»? — согнувшись, как для прыжка, со свистом дыша, повторил Титок. Слова Давыдова были толчком к взрыву накопившейся и сдерживаемой до этого лютой злобы. Он шагнул к пятившемуся Давыдову, споткнулся о лежавшее посреди двора ярмо и, нагнувшись, вдруг выдернул железную занозу. Дед Шукарь побежал со двора. Он, как назло, запутался в чрезмерно длинных полах шубы, упал, дико взвывая: «Ка-ра-ул, люди добрые! Убивают!» Титок, схваченный Давыдовым за кисть левой руки, правой успел нанести ему удар по голове. Давыдов качнулся, но на ногах устоял. Кровь из рассеченной раны густо хлынула ему в глаза, ослепила. Давыдов выпустил руку Титка, шатаясь, закрыл глаза ладонью. Второй удар повалил его на снег» и т.д.

Дойдя до описания, как Титков кобель набросился на Шукаря, Сталин начал посмеиваться, едва сдерживая хохот. Ему пришлось перевести дыхание, прежде чем изобразил речь неудачливого деда: «Дай мне револьверт, Макар, — вылупив глаза, горловым голосом заорал обозлившийся Шукарь. — Дай, пока сердце горит. Я его вместе с хозяйкой жизни ррре-шу». Грузинский акцент делал сталинского Шукаря неповторимо смешным. Шолохов с Плоткиным сдержанно улыбались. Окончив чтение, Сталин, причесав усы, поглядел на слушателей с заметным удовольствием. Увидеть автора ря-

дом с персонажем не каждому дано. Так впечатлился, что стал высматривать шрам Давыдова от удара Титка, но тут же улыбнулся собственной наивности. Однако забавное сходство отыскал и, не скрывая лукавства, заметил: «А зуб надо вставить, Андрей Аронович. Какой же настоящий большевик без зубов?! А то как же будете ломать саботаж мужиков?»

Но Плоткин вернулся в Вешенский район ненадолго. Видно, память о роли местного опричника не давала покоя. Рядом находились колхозники, которых истязал, и, встречаясь, опускал глаза. Они же, общаясь с ним, посмеивались и делали вид, что не помнят зла. Шолохов, несмотря на жесткий реализм «Тихого Дона», оставался лириком и романтиком, надеясь, что Плоткин сумеет загладить свои грехи. Коллективизация их сблизила. Дружили семьями. Когда Плоткина арестовали, Мария Петровна, супруга Шолохова, возила ему передачи в тюрьму, ссужала деньгами беременную жену. Отъезд Андрея в Киев огорчил Шолохова. Уходила частичка его души, уходила долой с глаз, но не из сердца. Отвечал Плоткину на его письма: «Твоим письмам сердечно рад и всячески приветствую, что ты снова на заводе, да еще в красивейшем городе мира. Плохо только, что получил повышение в чинах и бросил слесарное дело. Ну, какой из тебя снабженец? Где это видано (проиронизировал Шолохов), чтобы евреи торговали или шабашили? Ты бы, сукин сын, год-два после председательствования в колхозе поработал бы физически! А то нарастишь себе пузо, и тогда без пенсне шагу нельзя будет ступить». Шолохов восторгов от жизни не проявлял, несмотря на сталинскую помощь. Уповает на далекое будущее. Иначе, как говорится: «За что сражались». Так своему Давыдову и пишет: «Дела в районе текут и меняются: нынче плохо, завтра хорошо. Все тут, как в сказке про белого бычка. Вертится этакое колесо, на одной половине надпись «хорошо», на другой — «плохо». Неизвестно, когда колесо остановится, на какой надписи. Словом, как в детском стишке «А может, у чижика болит голова, может, чижик тесно?» А дальше насыщенный глубоким философским содержанием ответ: «Никому ничего не известно». В том числе и в твоей вотчине дела не-

важнецкие. Зажиточная жизнь не удалась в этом году. Я, признаюсь, сомневаюсь в том, что она придет в следующем. Но этак годика через три-четыре придет непременно. Верую!»

Подчеркивая сердечную дружбу, позволяет себе проанализировать: «У меня колхозники спрашивают: «А что, в этом году будут ломать саботаж или нет?» Я отвечал так: «Нет, не будут. Плоткину сейчас некогда. Он снабжает Украину, в том числе Киев с окрестностями. А вот когда ему это дело надоест, тогда он снова приедет сажать вас на горячую лежанку и разговаривать про саботаж». Люди радуются. А некоторые, особо осторожные, поговаривают о том, что надо, дескать, спрятаться на дворе, а лежанки да печки поразвалить заранее. По-моему, эти люди глупы. Как будто нельзя вместо лежанки сажать на горячий примус или просто на вострый кол...

...Пиши. У меня к тебе в целости сохранились самые теплые, самые сердечные чувства. Обнимаю тебя и желаю всего, всего лучшего. Привет твоей Донюшке. Марья Петровна приветствует вас обоих. Твой М.Шолохов».

«Загибщики», приглашенные в 1933 году в Кремль для получения взысканий, хорошо запомнились Сталину и в скором времени, в 1937–38 годах, были расстреляны как враги народа. А вот шолоховский «Давыдов» уцелел. Плоткин жил параллельно со своим прообразом. Семушка множился миллионными тиражами, лицедействовал в театрах, улыбался с экранов, «поднимался на щит» как знатный стахановец, герой-полярник, сталинский сокол. А Плоткин оставался в тени. Хотя товарищ Сталин не терял его из вида. Помнил, что к чему. В годы войны сделал генералом и поставил руководить в подмосковном городе Видное большим коксогазовым комбинатом. Свою причастность к знаменитому роману не афишировал. Не то было время. Как-то, уже в пенсионном возрасте, его разыскали московские телевизионщики и решили сделать красивую передачу. Передачу подготовили, но в эфир она не прошла. Тогдашний зам. ЦТ генерал КГБ Энвер Мамедов, поныне здравствующий, услышав «на прогоне» отчество прототипа легендарного председателя гремяченского колхоза имени Сталина — «Аронович», распорядился однозначно и открыто: «Уберите это-

го еврея из эфира». Подправить зампреда было некому. Благожелатель Плоткина давно лежал в земле. А Або Аронович отъехал в Вешенскую погостить у Михаила Александровича.

Сам Михаил Александрович раздваивался между совестью Харлампия Ермакова и чувством долга перед заступником Сталиным. На XVII съезде партии Сталин убедительно и уверенно утверждал, что с исчезновением кулацкой кабалы исчезла нищета в деревне. А Шолохов наблюдал иное: от кулака избавились, а крестьянин пух от голода. Необъяснимое заключалось и в другом. Сталин убеждал, что любой колхозник или единоличник имеет возможность жить по-человечески, если только хочет работать честно, а не лодырничать и не расхищать колхозное добро. А на практике, скажем, заметный персонаж «Поднятой целины», законопослушный колхозник Кондрат Майданников чем сильнее старался на колхозной ниве, тем больше облагался поборами. Получалась сказка «про белого бычка», которую припомнил Шолохов в письме Давыдову-Плоткину. Он сидел бессонными ночами над чистым листом бумаги, отбирал пригодные для печати факты. Все яркие, реальные, впечатляющие приходилось отметать напрочь. Его уже приучили видеть жизнь глазами цензоров. Он вымучивал вторую книгу «Целины», пытаясь избежать фальши. А Харлампий, пощипывая ус, сокрушался: «Худой из Вас казак, Михаил Александрович! Не ходили в атаку «лавой». «Так тут ведь не «лава», — пытался возразить Шолохов, — здесь скоком на пулемет не пройдет. Успели б его матросики поставить, вряд ли бы ты, Харлампий, живым унес ноги». Подумывал, а не лучше ли дожидаться обещанной богатой жизни и с ее достатка помянуть прошлую как далекий нехороший сон. Или остановить события осенью 1933 года, когда голодомор еще конкретно не просматривался и не брал за горло. Размышляя, откладывал перо. Крепкая, правдивая книга уже сложилась в голове, рвалась к чистому листу. А он удерживал себя, ломал творческий порыв. Писал в Москву Евгении Григорьевне Левицкой, душевно доверенному лицу: «Мало пишу по ряду всяких причин и в связи с этим чувствую себя убийственно плохо. Работать хочется очень и не удастся... Грустные дела на тихом Дону. Хлеба

вышло на «трудный день» в среднем по району 1,5 кило. Уже давно, с января примерно, пухнут люди. Не все, разумеется, но пухнут многие. И помаленьку мрут с голоду, так и не дождавшись зажиточной жизни. А Шолохов пишет по ночам, когда спит Санька, о том, как когда-то воевали на Дону и как милая несчастливая женщина Аксинья полюбила Григория. Мужество надо иметь, чтобы писать сейчас о любви, хотя бы и горькой».

V

«Сверху» намекали — нужна вторая книга «Целины». Очень нужна, чтоб подтвердить тезисы сталинского доклада на XVII партийном съезде. Плохо на селе живет лодырям и саботажникам, а честным труженикам — лучше некуда. Рассуждая по Козьме Пруткову, Шолохов понимал: на клетке слона можно написать — буйвол — и многих убедить, что это так. Но само этому не поверишь, как ни крути, ни верти. Первую книгу так написать удалось, пройдя по лужам, не замочив ног. Вспоминая, усмехался своему эзопству. Сказать, что Сталин этого не заметил, было бы нелепо и неумно. Он, искушенный в политических намеках и недомолвках, улавливал скрытый смысл любого текста. Зная, что в художественной литературе замысел книги передается через персонажи, он, естественно, приглядывался к трем главным. Особенно к секретарю партиячки Нагульнову. Его почему-то автор назвал Макаром по странному совпадению с персонажем пересмешника Платонова из его повести «Усомнившийся Макар». Правда, были они, как полные антиподы. Если платоновский Макар до полного идиотизма сомневался в сути социалистического переустройства, то шолоховский с таким же рвением обольванивал эту суть. Он точь-в-точь соответствовал народной притче: заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет. С такой категорией людей жизнь сталкивала Сталина неоднократно. На поверку они оказывались или хитроумными демагогами, или законченными идиотами, повторяющими, как попугай, лозунги. К тому же шолоховский Макар сильно смахивал на другого платоновского деятеля из запрещенной для печати повести «Чевен-

гур». Начальные главы повести все же увидели свет в 1929 году, т.е. до публикации «Поднятой целины». И подверглись обвальная критике в печати. Там, среди прочих персонажей-экспонатов, обосновался некий Степан Копенкин. Правда, в отличие от Нагульнова, мелкий ростом и худой, но в остальном его кровный брат. Как и шолоховский Макар, он — бесконечный враг собственности и выражает это так же, но своими словами: «Он мог бы с убеждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища». Нагульнов от четырех быков и сытой жизни ушел в работники: «А все из-за чужой свиньи, что потравила их кусты картошки и ошпарена за то Макаркиной мамашей крутым кипятком. С той поры пошла меж соседей свара, доведенная до смертоубийства». Голова платоновского Копенкина забита левацкой чепухой и доводится автором до абсурда. Городили несусветную чушь, превращая большевистские идеи в бред. Выживают, чтоб набраться сил для защиты всех младенцев на земле и в память о прекрасной девушке Розе Люксембург. Сталин видел эту маленькую хроменькую еврейку. А этот платоновский недоумок сотворил из нее кумира и клянется, что его руки положат на ее могилу всех ее убийц и мучителей. Эта немецкая незнакомая ему революционерка заменила непорочную деву Марию и самого Иисуса Христа. Ее имя он повторяет к месту и не к месту, обесценивая идеи революции. Называет Розу своею невестой, грозит буржуазным банкирам Англии и Германии за ее убийство. Обольванивая тему революции, этот Копенкин ставит свою лошадь «Пролетарская сила» в один ряд с именем Розы, правда, сохраняя за немецкой коммунисткой приоритет места. Лошади отводится третье, а Розе, естественно, — первое. В шапке Копенкина зашит портрет Люксембург. Этот карикатурный революционер «не имел душевных сомнений, считая их изменой революции, так как немецкая Роза заранее и за всех продумала все, теперь остались одни подвиги вооруженной руки ради сокрушения видимого и невидимого врага».

Сталин, несмотря на полное неприятие подобного подхода, отдавал должное платоновской сатире, острой по существу, но не пригодной для дела. Большевикам не годится реплика гоголев-

кого городничего: «Над кем смеетесь, господа? Над собой смеетесь». Когда-нибудь они это смогут позволить, но когда-нибудь... Отношение к Розе поднимало и укрепляло революционную сознательность Копенкина. Стоя перед ее портретом до тех пор, пока его невидимое волнение не разбушевалось до слез, он в ту же ночь со страстью изрубил кулака, по наущению которого месяц назад мужики распоролли агенту по продразверстке живот и набили туда проса. В первый тогда раз Копенкин рассек кулака с яростью...

Создавая «Поднятую целину», Шолохов не мог не знать изданные главы «Чевенгура». Не могла пройти мимо него и разгневанная критика. Не исключено, что, зная Платонова лично, он прочел роман до конца. Однако, описывая характер Нагульнова, Шолохов наделил его чертами Копенкина. Красной Розы, конечно, у Шолохова не найдешь. Но символ ее неотрывен от его Макара Нагульнова. Первый раз он проявил свою суть на собрании гремяченцев: «В землю надо зарыться, а всех завлечь в колхоз. Вы ближе к мировой революции». Ради нее он живет, дышит, существует.

Как платоновский Копенкин, зарубивший кулака, Нагульнов готов на большее. Распекая Разметнова, дрогнувшего при раскулачивании Гаева, он кричит с пеной у рта: «Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь? Да... тысячи ставил зараз дедов, детишек, баб... Да скажи, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порешу! — вдруг дико закричал Нагульнов, и в огромных расширенных зрачках его плескалось бешенство. На углах губ вскипела пена: — Зарублю -у-у -у!» А сам уже валился на бок, левой рукой хватая воздух в поисках ножен, правой судорожно шаря невидимый эфес шашки...

Читая эти строки, Сталин непроизвольно поморщился, пожал плечами: «Припадочный. Зачем же так? Почему дедов, детишек, баб? Да еще из пулемета. Достаточно сослать, отобрать жилье, скот, землю, инвентарь. Но стрелять из пулемета — явный перебор. Кому надо — хватит мосинской винтовки. Для чего Шолохову такой герой? Любой грамотный читатель уяснит, что имеет дело с ненормальным. В жизни они, конечно, есть. Но к чему ими украшать роман? Шутник, казачок. А впрочем, — размышлял Сталин, — может быть, так надо. На местах переги-

бают палку такие дурачки, а мы «сверху» поправляем. Учим, как жить».

К месту и не к месту этот «родственничек» платоновского Копенкина поминает мировую революцию. Не спуская палец с курка нагана, диктует «расписку» саботажнику Баннику: «Хотя я и есть контра скрытая, но советской власти вредить не буду,.. а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас, ее врагов мирового масштаба, — подводит под точку замерзания». Принимая в партию Майданникова, продолжает гнуть платоновскую линию, созвучную мечте о немецкой Розе: «В партию надо идти безо всяких страданий о собственности. В партию надо идти так, чтобы был ты наскрозь чистый и оперенный одной думкой: достигнуть мировой революции». Нормальная, явно симпатичная Шолохову, Лушка насмеяется над психическими в ее представлении гремяченскими жожаками. Охмуря, в пику бывшему супругу Нагульнову, Давыдова, иронично интересуется: «Что слышно про мировую революцию?»

Читая с интересом «Поднятую целину», Сталин многократно посмеивался в усы, подмечая нелепость и несуразность персонажей. От платоновских дурачков отличали их, пожалуй, более понятная, без вывертов, речь и поясняющие авторские комментарии. «Какими же платоновскими чудиками населил писатель Шолохов страницы своего многозначного романа». Думая о прочитанном, Сталин не раз отмечал: «Ох, хитер этот казачок из Вешенской. Гнет по-своему кулацкую линию, выставляя примерных колхозников блаженными простаками и недотепами. Чего стоят рассуждения передового Кондрата о рабочих буржуазных стран. Не захочешь, а улыбнешься: «Продали вы нас, братушки, за хорошую жалованью от своих хозяев. Променили вы нас, братушки, на сытую жизнь. Через чего до се нету у вас Советской власти. Ежели б вам плохо жилось, вы бы теперича уж революцию сработали, а то, видно, что жареный кочет вас в зад не клюнул...» Получается, посмеивался Сталин: «Живут-поживают буржуазные трудящиеся совсем неплохо, не то что у нас в советской стране». Другие сомнения одолевали Сталина. Если Мелехов Григорий, несмотря на шатания, ему явно нравился, то тройца коммунистов из Гремячего симпатий не вызывала. О контуженом и травленном

газами Нагульнове говорить не приходилось: припадочный и «левак». Такого заставить рубить лес — шепок не соберешь. Разметнов — ни рыба ни мясо. Работник никакой — крыши покрыть не смог. Чтоб подчеркнуть его безрукость, Шолохов запускал на доделку Шукаря, который сам пустобрех и лежебока. Нагульнов чем-то напомнил Сталину платоновского болтуна Упоева из вредной повести «Впрок». В ней Платонов тонко поиронизировал над сталинской коллективизацией, так что выдержанный генсек, сорвавшись, написал на полях книжки: «Сволочь». А Шолохов наделял Нагульнова упоевскими чертами. Макар отмахивался от забот о собственном житье-бытье, не о каком-то распрекрасном, а о самом заурядном. Платоновский Упоев шагнул еще дальше: его семья постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все силы и желания он направлял на заботу о бедных массах.

Сталин никогда не страдал вещизмом, имея две пары сапог, две-три рубашки, френч, с десяток госдач и пустое от денег портмоне. Но дети: Василий, Светлана, жена Наденька никогда не питались впроголодь, как и все руководство страны, не исключая семейства Ульяновых. У Платонова провокатор Упоев кричит на всю ивановскую, указывая на весь бедный окружающий его мир: «Вот мои жены, отцы, дети и матери, — нет у меня никого, кроме неимущих масс. Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революции. Вперед — в социализм!» «Конечно, — мрачнел Сталин, — мы против нэпмановского достатка с «лифчиками на меху», как писал Маяковский. Мы за пролетарскую бытовую скромность. Но неловко приближаться к социализму, светить голой ж...».

Заверши Шолохов вторую книгу «Поднятой целины» при жизни вождя, тот бы сразу подметил упоевские замашки и у предсельсовета Андрея Разметнова. Упоев учил, как медленно и продуктивно жевать колхозникам пищу, чтоб не было желудочного завала. С трибуны он всенародно чистил зубы, показывая, как это надо делать. И на трибуне же умывался по утрам, приучая колхозников к чистоте. А Разметнов запретил днем в Гремячем топить печи, дымить цигарками на улице. «Тоже мне, царь нашелся, — отметил бы Сталин. — Александр II разрешил курение

на улицах Петербурга, а Андриюшка Разметнов — запретил». Еще больше бы озадачился Сталин, прочитав во второй книге «Поднятой целины» рассуждения Шукаря о дураках: «Старые перевелись, а сколько новых народилось — не счесть. Их при советской власти не сеют, а если сами, как житопадалица, родятся во всю ивановскую, никакого удержу на этот урожай нету». А дальше адресное указание: «Взять хотя бы тебя, Макарушка», т.е. Нагульнова. Ладно со Шукарем — он сельсоветский шут. Но Сталин не мог не вспомнить, что у опального Платонова в повести «Впрок» рабочий судья толкует некоему Пашке о том же. Кроме того, вся руководящая троика имела унижительный для мужчин изъян. Левак Нагульнов это даже афишировал, прикрывая громкими фразами. Читать было неприятно: «Вот и мне баба, жена то есть, нужна как овце курдюк. Я весь заостренный на мировую революцию. Я ее, любушку, жду. А баба мне — тьфу и больше ничего. Баба так, между прочим... Мужчины я в самом прыску, хоть и хворый, между делом могу и соответствовать...» Сталину такая блажь не укладывалась в голове. Хотя не мог сослаться на воздержанность. Он женился на Като Сванидзе рано. Но прожил с ней недолго. Больше скитался по тюрьмам и ссылкам. Однако даже при желании не мог заменить женщину интересами мирового пролетариата. Везде находил девиц, даже в Курейке сошелся с девочкой, которая родила ему сына. У Славы Молотова в Сольвычегодске отбил девицу Марусю. Шолохов выставлял своих героев скопцами, обходящимися революционной фразой. Это было со стороны казачка насмешкой, если не сказать, прямой издевкой. Давыдов, дожив почти до сорока, не умеет грамотно поухаживать за женщиной, замужней, повидавшей виды Лушкой. Андрей Разметнов — третий вешенский богатырь — бросает любимую вдовушку Марину по общественным причинам. Та не пожелала вернуться в колхоз.

Душевный, стеснительный Давыдов перенял хватки Нагульнова и нередко брался за наган. Сам автор наделил его такой характеристикой: «...Незаметно он усвоил грубую, нагульновскую манеру общения с людьми, разнуждался, как сказал бы Андрей Разметнов». А казака Осетрова, пытавшегося заступиться за искалеченного в Гражданскую колхозника Устина,

предупреждает: «Пусть Устин одумается, пока не поздно. Шутить я с ним больше не намерен, так ему и скажи... Он вовсе не дурак, а открытый враг колхозной жизни. С такими мы боролись и будем бороться без пощады». А речь идет о бедняке, у которого и хата набок свалилась, вот-вот рухнет, в хозяйстве одна коровенка да пара шелудивых овчишек, денег сроду не было и нету. У него в одном кармане блоха на аркане, а в другом — вошь на цепи, вот и все его богатство. А тут жена хвора, детишки одолели, нужда заела. «Шестеро их у него», — заступается за Устина Осетров. А требует этот злоязыкий Устин ни мало ни много — вежливого, не собачливого отношения. Вот и вся его претензия. Уважения хочет колхозник! Беря с собой Устина уговаривать богомольных старушек вернуться в поле, подоспевший Давыдов вручает тому свой наган, приговаривая примирительно: «Возьми эту игрушку и спрячь от греха подальше. Если и ты, в случае чего, примкнешь к богомольным женщинам, боюсь, что не выдержу искушения и тебе же первому продырявлю голову». Не отпетому разбойнику, а бывшему красноармейцу, а теперь исправному колхознику. Неизвестно, поморщился бы Сталин от такого «перегиба», но за дурость колхозных вожakov огорчился. Отчудили два богатыря из трех несусветное. Конечно, как на это поглядеть. Можно обернуть в очередную шукариную шутку, а можно воспринять как едкую сатиру. Богатыри — не дети, а солидные мужи, прошедшие огонь и воду. Решил предсельсовета Разметнов завести для душевного покоя пару безответных голубей. Утром, спозаранку, он подолгу сидел на порожке амбара, курил, наблюдая семейную голубиную пару. Но тут старая кошка, любимица его матери, устроила на голубку, согревающую будущее потомство, безжалостную охоту. И предсельсовета, вспомнив военные годы, уложил ее одной пулей из нагана. Получил от матери авторскую отповедь: «Душегуб проклятый! Ничего-то живого тебе не жалко. Вам с Макаркой что человека убить, что кошку — все едино. Наломали руки, проклятые вояки. Без убийств вам, как без табаку, и жизнь тошная». Одной кошкой Разметнов не ограничился. Матери заявил: «С кошками теперича прощайся на веки вечные». За неделю он перестрелял всех

соседских котов и кошек и надолго обезопасил своих голубей, подводя под это классовую подоплеку: «Мы... без промаху бьем всякую пакость, хоть о двух, хоть о четырех ногах, какая другим жизни не дает». Свою шутку-прибаутку про отстрел Разметновым котов Шолохов завершил не совсем насмешливо словами матери Ерофея Чебанова: «И как это наши казаки могли такого паршивца в председатели выбрать?» Вопрос этот был не праздный.

Одной такой процедуры могло бы хватить, но Шолохову этого показалось мало. Шутовскую шапку напялил и Нагульнову, тоже связанную с истреблением «наших младших братьев». Макару помешали петухи, особенно один, Аркашки Менька, запевший не в очередь несолидным альтом. А так как прохрипел он после майданниковского басистого, Нагульнов такого стерпеть не мог. Серо-мышастый петушок Аркашки вызвал у Макара нестерпимый гнев, и он потребовал от хозяина резать недоноска. На вопрос растерянного Менька: «А чем он помешал тебе, мой петух? Дорогу тебе перешел или что?» Нагульнов объяснил как нельзя серьезно: «Дурак он у тебя, порядку не знает». После разных приключений молоденькому петуху свернули шею. Шолохов без тени улыбки излагал: «...Он (Нагульнов) вышел на улицу с видом человека, сделавшего большое и нужное дело. На молчаливый вопрос жены пострадавший приложил указательный палец ко лбу, повертел им из стороны в сторону, сказал шепотом: «Хороший человек, а тронулся. Бесповоротно сошел с ума, не иначе. Сколько ему, бедняге, не спать по ночам. Доконали его английские языки, будь они трижды прокляты». Шолохов мог быть доволен. Шарж мог трактоваться двояко: кому-то дружеским, а кому-то издевательством. Трудно сказать, как отнесся бы товарищ Сталин к таким эпизодам, но Харлампий Ермаков был бы, наверное, доволен. Шолохов это чувствовал и испытывал искреннее удовольствие. С другой стороны, можно предположить, что и Сталин отнесся к шутовским проделкам вешенского руководства с юмором. Сохранил же он в романе линию деда Шукаря, хотя слышал активные писательские мнения об ее усушке и запрете. Он, как опытный читатель, был уверен, что народный юмор Шукаря не ослабит актуальность темы, а, наоборот, смягчит и подсластит

горькую пилюлю крестьянского закрепощения. Отстоял он и сцены бабьего бунта и жестокого раскулачивания Титка. Зная Шолохова по «Тихому Дону», понимал двойственную особенность его творчества. «Поднятую целину» создавал не с позиции гольтубы, а мужика-труженика. Сталин понимал, что Шолохов написал и «вашим» и «нашим», считал, что «нашим» хватит материала считать роман только своим. Тем более он рассчитывал на партийных толкователей, сумеющих все преподнести как надо. Сам же, разбираясь в шолоховской маскировке, раскрывал упакованный в лозунги замысел. Если их отбросить, докопавшись до фактов, получалась антиколхозная позиция. Самоуправляющее коллективизацией гремяченское руководство состояло фактически из люмпенов, аппаратчиков, оторванных от земли не волею партии, а существом натуры. Нагульнов отрекся от нее, презирав собственность, а также крестьянский труд.

Таким же отщепенцем от земли оказался Разметнов. По каким статьям он оказался при призыве на царскую службу безлошадным, Шолохов не объяснил. То ли грыжу нажил, то ли иную хворь, погорел, обокрали — информации нет. А казацкий надел имел в 12-13 десятин. Об этом Шолохов сообщает косвенно, объясняя, что станичное правление сдавало его землю в аренду, пока он мотался по фронтам. Явившись с войны, вспахал лишь две десятины земли, так как целыми днями пестовал сынишку, сажал его на свою вросшую в плечи, провонявшую солдатчиной шею, бегал по горнице, смеялся...

У Мелеховых, рожденных тем же шолоховским пером, ни Григорий, ни Петр, приезжая на короткие побывки, не бегали «целый день с дитем», а тут же брались за плуг или другие рабочие инструменты. Даже Мишка Кошевой, убив деда Гришаку, спалив коршуновский дом, отправился поправлять мелеховский курень. В «Поднятой целине» трудовой ухватке Разметнова Шолохов уделил два слова. Побродив после Гражданской с год с продотрядом, «летом припал к хозяйству» — без какой-то распечатки. Как припал, чего вспахал, сколько собрал. Зато, пристроившись к вдовушке Марине, Андрей, прежде, как и Давыдов, ходивший голодранцем, приоделся в «мужнину одежду», «защеголял по Гремячему в суконных вахмистровых шароварах и рубахах». Не тянул на

себе воз хозяйства, как положено мужику, а, как сказано, «помогал своей любушке в хозяйстве». Зато с охоты нес ей убитого зайца или вязанку куропаток. Сталин усмехался упряманной иронии, отмечая ее отменную маскировку. Как бы смягчая косорукость Разметнова, Шолохов уточнял: «Да она и сама неплохо справлялась с хозяйством и могла бы легко обходиться без мужской помощи». Иную роль отвел казачок руководству хуторской власти: петуха-топтуна. Шолохов не мог остановиться, укладывая Разметнова на лопатки. Не раз Андрей со скрытым удовольствием наблюдал, как она, сожительница Марина, подымала на вилах трехпудовый ворох пшеницы, окутанный розовой повитью, или, сидя на лобогрейке, мечет из-под стрекочущих крыльев валы скошенного полнозернового ячменя... Даже лошадь она запрягала по-мужски: упираясь в обозь клеща, разом затягивала супонь.

«Больше унизить казака нельзя», — посмеивался оценивший авторскую издевку Сталин. Так и хочется указать: «Чего стоишь, заложив руки на задницу? Помоги женщине, коммунист хренов». Не глянулся Сталину путиловский морячок. Во-первых, опустившийся неряха. Одевается черт знает во что и ходит в нестираном, пропотевшем и рваном. У Давыдова засаленный воротник пиджака, разорванная, выцветшая тельняшка. Разметнов укоряет путиловского посланца: «Рубашка на тебе — шашкой не прорубишь, и потом разит, как от мореного коня». Даже платок носовой у Давыдова «черный, как прах», и, он сморкаясь, прячет его в кулаке. Сталин везде и всегда при всех жизненных передрыгах был чистошлотен и в одежде аккуратен. Долгие годы жил бобылем, но старался выглядеть настоящим «батону» — молодцом. Даже в ссылке, заполярной Курейке, не позволял себе выглядеть босяком. А этого «посланца партии» писатель Шолохов представил почему-то голодранцем. Квалифицированный слесарь с «Красного путиловца» выглядел, как говорили грузины, «мутаво» — без царя в голове. Еще мать Като приучила его следить за собой, не позорить себя и ее. А морячок десять лет проработал после Гражданской войны не каким-то подсобником, а слесарем, и не разжился приличным гардеробом. Заработки у путиловцев при НЭПе выходили приличные. Превышали всякие дореволюционные в старом исчислении

на полтора рубля. На такие деньги можно было приодеться и выглядеть достойно. А Давыдов, как прописано в романе, обходился единственным костюмом, двумя сменами белья, парой носков, поношенным пальтишком и ботинками без калош. В тексте прямо не значилось, но косвенно получалось, что партиец Давыдов или имел склонность к Бахусу, или к азартным карточным играм в «очко» или «козла». Автор, конечно, мог сослаться на помощь Давыдовым неимущим братишкам и сестрицам, но почему-то о них запамятовал. Значит, нужен ему был именно такой безалаберный, бесхозяйственный персонаж, не способный даже позаботиться о себе. Он самокритично заявляет секретарю райкома: «Да ведь пойми, дорогой секретарь, я в сельском хозяйстве телок телком». Острый выпад в адрес посланцев пролетариата Сталин пропустил в печать. Шолохов указывал на очевидное, но в контексте романа слесарек себя проявил как надо.

Во второй книге Шолохов возвращается к теме никчемности Давыдова в Гремячем. Через сорок лет после коллективизации такую крамолу допустили к читателю. Колхозник Устин высказывается однозначно: «Тебя привезли, как kota в мешке». Давыдов формально отговаривается: «Я сам приехал», будто не имел партийного задания. Устин резонно возражает: «Все одно. Приехал, как кот в мешке. Так с какой бы стати я за тебя голосовал, не зная, что ты за птица. Никто тебя к нам в хутор не приглашал, мы и без тебя, бог даст, как-нибудь проживем. Ты нам — не свет в окне». Кузьма Шалый говорит еще резче: «У меня железное дело в руках, а у тебя шкурное. Кто из нас важнее по делу?» Молчун Аржанов, эпизодичный персонаж второй книги «Поднятой целины», объясняет Давыдову место и назначение хуторской головы: «Вам с Нагульновым только воду на пожар возить, на лошадях во весь опор скакать, чтоб мыло с них во все стороны шмотками летело, а тушить будем мы, колхозники, — кто с ведром, кто с багром, кто с топором... А распоряжаться будет на пожаре Разметнов, больше никому... Вот вы с Макаром вскачь живете, ни днем ни ночью покою вам нету и другим этого покою не даете... Андрюшка Разметнов этот рыском живет, внатруску, лишнего не перебежит и не переступит, пока ему кну-

та не покажешь... Значит, что ему остается делать при его атаманском звании? Руки в бока и распоряжаться, шуметь, бестолочь устраивать, под ногами у людей путаться. А мы, народ то есть, живем пока потихоньку, нам и надо без лишней сутолоки и насмешки дело делать!» В этом кратком крестьянском монологе суть шолоховского отношения к руководящей и направляющей руке власти. Много в книге и других противоположных по смыслу высказываний, и эти слова вроде бы не авторские, а одно-разового персонажа. Но важно отметить рядового мужика, хлебороба, труженика, который живет — не пожар тушит, как ретивое гремяченское и, надо понимать, всякое руководство, а жить потихоньку, безо всякой сутолоки и неспешно дело делать — растить и убирать хлеб. Скорее всего, Сталин, читая рукопись «Поднятой целины» с карандашом в руках, вымарал бы речь молчуна Аржанова. Уж очень он целил не в бровь, а в глаз. Об этом остается только гадать. Но доподлинно известно, что вторую книгу «Поднятой целины» Шолохов фактически завершил еще до войны, при жизни своего наставника и покровителя. Однако в печати она не появилась. Хотя это не значит, что рукописи Сталин не видел. А в годы войны она пропала вместе с шолоховским архивом и была восстановлена писателем по памяти. Но в прежнем ли виде?

VI

Сталин знал цену революционной фразе, годной для митингов, а не для дела. Когда рвались к власти, прикрывались лозунгами, когда захватили — другое дело. Как-то «железный Феликс» на Политбюро пытался убеждать лозунгами. Его дружно осаждали: здесь не фабричная трибуна. У Шолохова гремяченские вожаки через слово убеждают лозунгами. Прикрывались ими, как ёж иголками, Нагульнов будто пьянел от них. Иначе говорить не мог. Это выглядело пародийно и вызывало у Сталина улыбку. Размышляя диалектически, знал: любая идея, заостренная до предела, оборачивается в свою противоположность, вызывая протесты и возражения. А Шолохов будто к этому

стремился. Нормальный коммунист не должен выглядеть дураковатым, что бы ни случилось: выход из колхоза, убой скота, недодача хлеба, шолоховский Нагульников изрекал одно: «Загубите вы, такие-то, мировую революцию. Не придет она через вас, тугодумщиков... Стыдоба великая! Там кругом буржуи рабочий народ истязают, красных китайцев в дым уничтожают... В сердцах кровя сохнут...» Не отстает от товарища Давыдов, загоня мужиков в колхоз: «Ты! Вражеский голос! Я еще доживу до той поры, когда таких, как ты, всех угробим... Слышишь, ты, кулацкая гадина». Но идейного сходства, классового братства Шолохову мало. Он делает соратников братьями «молочными», как принято называть любовников одной женщины. Мало ли бабенок в Гремячем, вдовых и не вдовых, но Шолохов сводит Давыдова с Лушкой, неразведенной женой Макара. Сталин от такого «пассажа» покачивал головой. В жизни всякое бывает, сердцу не прикажешь. Он сам был «молочным братом» Мологова. Но к чему такое афишировать, да еще с двумя единомышленниками? Шолохов накрутил ситуацию до крайности. Давыдов по-детски осторожничает, чтоб про связь с Лукерьей не прознали в Гремячем, но совсем не думает о влюбленном в Лешку приятеле. Независимая, гордая Лешка знает истинную цену своим ухажерам. Давыдова обзывает матросским тюфяком, трусом слонявым, выносит путиловцу безжалостный приговор: «Думала, что ты человек как человек, а ты вроде Макарки моего: у того одна мировая революция на уме, а у тебя — авторитет. Да с вами любая баба от тоски подохнет».

В сравнении с Лукерьей оба главных героя выглядели безжизненными декорациями. На их фоне она смотрелась живой и натуральной. Сталин, к сожалению, такой Лешки не узнал. Расцвела она под пером Шолохова только во второй книге «Целины». Лишь для Аксиньи находил он такие яркие, сочные краски. Но Аксинья расцветала сама по себе и Лукерье для контраста. Рядом с неопрятным, неухоженным Давыдовым и помещанным Макаром она оглядывала мир «постоянно меняющимся выражением горячих глаз и опьяняющим запахом губ, всегда трепетных и сухих...» Удивительные глаза были у Лешки Нагульновой. Когда она смотрела немного испод-

лобья, что-то трогательное, почти детское — беспомощное сквозило в ее взгляде. И сама она в этот момент была похожей скорее на девчонку-подростка, нежели на многоопытную в жизни и любовных утех женщину. А через минуту, легким касанием пальцев поправив всегда безупречно чистый платок, она вскидывала голову, смотрела уже с вызывающей насмешливостью... Эта способность мгновенного перевоплощения была у Лешки не изученной в совершенстве школой кокетства, а просто природным дарованием. Расписывая свою Лешку, Шолохов отмечал: много кое-чего не видел и не замечал пораженный любовной слепотой Давыдов. Как бы ни был верен и предан партии и ее лозунгам морячок — человеческое заслонило все. Это тоже был вызов правилам и морали советского пуританства. «Лешенька моя, — признавался ей очеловечившийся председатель. — Ты у меня, как цветок. У тебя даже веснушки пахнут. Ну вот, как подснежники, почти неприметно, а хорошо». «У меня так и должно быть», — с достоинством и полной серьезностью заявила Лешка.

Немного места отведено Лешке во второй, не читанной Сталиным, части романа. Но каждая строка взята Шолоховым из сердца. Среди мути и крови колхозных дел нашел он светлую отдушину и показал «лазоревою степь». Вот, охотясь на беглого из ссылки любовника Лешки Тимофея, приходит за ней бывший муж Разметнов. «Даже спросонья она была по-девичьи свежа и хороша, эта проклятая Лешка... нагло, победно щурила лихие лучистые глаза». Уходя, передеваясь, она сбросила с себя ночную рубашку и юбку, нагая и прекрасная собранной юной красотой, непринужденно пошла к сундуку... открыла его...» Рассказывая Давыдову о прощании Лешки с убитым Тимофеем, непреклонный Нагульников не может скрыть восхищения: «Признаться тебе, Семен, я боялся, что заголосит моя предбывшая, когда увидит мертвого Тимошку... Нет!.. Подошла она к нему без слез, без крику, опустила перед ним на колени и тихонько сказала: «Летел ко мне, мой ясный сокол, а прилетел к смерти». А потом сняла с головы платок, вынула гребень и причесала Тимошку, чуб его поправила, поцеловала в губы и пошла. Ушла от него и ни разу не оглянулась... Вот и все ее было прощание. Это как, здорово? А и крепкая же на

сердце оказалась проклятая баба». Пропустил бы Сталин такой дифирамб непутевой Лушке, связавшейся с беглым кулаком? Может быть, и сохранил. Время ушло. Коллективизация превратилась в отработанный пар истории. А может, сохранил верность принципам...

Но однозначно: сам Шолохов и с ним Харлампович любовались Лушкой и с сожалением сочувствовали обобравшим себя идейным ухажерам. Точно так же, как Иван Сергеевич Тургенев сожалел о своем Базарове, отвергнувшем любовь красавицы Одинцовой. А что же оставалось Шолохову делать, если покоренные Лушкой демагоги открещивались от нее, как черт от ладана. Сожаление и удивление могли вызвать их рассуждения. Нагульнов излагал Давыдову: «Ты думаешь, она об мировой революции душой изболелась? Как бы не так. Ни колхозы, ни совхозы, ни сама советская власть ей и на нюх не нужны... А чем же нам с тобой было держать такую вертихвостку? За ради нее и революцию, и текущую советскую работу бросить? Ясная гибель. Гибель и буржуазное перерожденчество! Нет, уж лучше пушай она на первом суку хоть трижды повесится, а за ради нее, такой паскуды, нам с тобой, Сема, от нашей партийной идейности не отказать». «Бабы для нас, революционеров, — это, брат ты мой, чистый опиум для народа». Окажись такое признание в первой книге «Поднятой целины», выглядело бы для многих читателей дико, нелепо. А в 1969-м, когда оно появилось во второй, — ничего, кроме усмешки. Много чего позволил себе Шолохов во второй, припозднившейся, книге. Как Гоголь для сына Тараса Бульбы Остапа, нашел теплые сердечные слова, описывая убитого Нагульновым белого кулака Тимофея, горячо любимого Лушкой. Любуется Шолохов этим классовым врагом, не скрывая симпатии, и сочувствует судьбе.

...Тимофей лежал на спине, далеко откинув правую руку. Застывшие, но еще не потерявшие живого блеска глаза его были широко раскрыты. Они, эти мертвые глаза, словно в восхищенном и безмолвном изумлении любовались угасающими неясными звездами и тающим в зените облачком, лишь слегка посеребренным снизу, и всем безбрежным небесным простором, закрытым призрачной легчайшей дымкой тумана. Конечно, можно поставить точку, сое-

динив погибшего с красотой природы. Но Шолохову жаль расставаться с этой прекрасной загубленной жизнью. Он любит ее, как бы прощаясь: «Он и мертвый был красив, на нетронутый загаром чистый и белый лоб упала темная прядь волос, полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки, вздернутая верхняя губа, опущенная мягкими черными усами, немного приподнялась, обнажив влажные зубы, и легкая тень удивленной улыбки запряталась в цветущих губах, всего лишь несколько дней назад так жадно целовавших Лушку».

Харлампович, оценивая описание мертвого Тимофея, хмыкал и посмеивался: «Расписал ты парнишку, как красну девицу. Мертвяк есть мертвяк. Повидал я их на своем веку. Желтизна на лице и никакой красоты. А у тебя, как жених перед алтарем. Отошел от правды, Михаил Александрович!» — «Нет, дорогой Харлампович, ни на полвершка не отошел. Тысячи таких парнишек загубили, забрали горячую жизнь. За что? Пусть останется после смерти красивым, чтоб всякий, кто с сердцем, его пожалел. Да и убил его Нагульнов не по праву». Но линию никчемности гремеченских вождей, намеченную в первой книге, Шолохов развил и усилил во второй. Сама абсурдность массовой коллективизации прослеживалась не совсем замыленным объективным глазом. Раскулачиваемый хлебороб и хозяин Тит Бородин, Титок, возражает немислимым для разумного человека объяснением: «Я сполняю приказ советской власти, увеличил посев, а работников имею по закону: у меня баба в женских болезнях. Я был ничем, а стал всем, все у меня есть, за это я и воевал. Да и советская власть не на вас держится. Я своими руками даю ей что жевать, а вы — портфельщики, вас в упор не вижу». Сталин не мог не заметить абсурдности происходящего. Тит Бородин добровольно ушел в Красную гвардию. Будучи бедняцкого рода, сражался стойко. Имеет раны и отличие — серебряные часы. Чем же провинился этот бедняк и красногвардеец? Чем прогневал народную власть, где стал поперек пути? Дальше следует немисливо невероятное в изложении Макара Нагульнова. Тут каждое слово против здравого смысла, нажитого опытом вековой крестьянской жизни. Титок, оказывается, по Нагульнову, «нам сердце по-

лоснул. Зубами, как кобель в холку, вцепился в хозяйство, возвратившись домой... И нажил богатств, несмотря на наши предупреждения». Не воровал, не разбойничал, а «работал день и ночь, оброс дикою шерстью, в одних холщовых штанах лето и зиму хаживал, нажил три пары быков и грыз от тяжелого подъема разных тяжестей, и все ему было мало!.. Нажил мельницу-ветрянку, а потом пятисильный паровой двигатель, начал строить маслобойку, скотиной приторговывать... Работают они по двадцать часов в сутки да за ночь встают раз по пять, сенца скотине метать». За это, будь он в колхозе, орден на грудь, а то и звезду Героя, значок депутата, а его вызывали неоднократно на ячейку в Совет, стыдили страшным стыдом, говорили: «Брось, Тит, не становись нашей дорогой советской власти поперек пути. Ты ж страдалец на фронтах против белых был... Видим, поедает его собственность. Что можно сделать, раз человек осатанел?» Читая подобный рассказ Макара, Сталин, находясь не на трибуне, а один в кабине, не хмурил брови, а с хитринкой посмеивался. Конечно, Шолохов намеренно сгущал краски, делая Титка не белым, а красным, не из богатых, а из бедных. Доводил дело до абсурда. Все эти передержки Сталин мог попросить Шолохова исправить или убрать самому, как он поступал с некоторыми авторами. Но Сталин не сделал ни того, ни другого. Кулачество надлежало истребить как класс. Поэтому не имело никакого значения — рачительный хозяин происходил из бывших богатеев или из героев красноармейцев, которые, как этот Титок, как точно подметил Шолохов, считали, что заслужили право, обозначенное в пролетарском гимне: «Кто был ничем, тот станет всем».

«Раскатали губу, — усмеялся Сталин. — Не для того революцию делали, чтоб прежних богатеев заменить своими. Хрен редьки не слаще. Не в деньгах счастье. Важно наметить нужные партии лозунги и вести за ними толпу. Лозунги не требовали доказательств, они принимались за аксиому. Разжился Титок, работая по двадцать часов в сутки, — значит, как считает товарищ Нагульнов, предал, значит, враг и никакой ему пощады. Кулаком стал, врагом сделался — раздавить. Какие тут могут быть разговоры? Переиначивая очевидное, Шолохов, сохраняя

абсолютную серьезность, позволяет юродствовать своему Макару. У того, по его словам, «с малства ненависть к собственности. Все зло через нее, правильно писали ученые товарищи Маркс и Энгельс. А то и при советской власти люди, как свиньи у корыта, дерутся, пихаются из-за этой проклятой заразы». О причинах разлада с этой «заразой» из-за ошпаренной соседской свиньи уже говорилось. Но этот смехотворный для нормального человека случай Шолохов делает для Нагульнова судьбоносным. История со свиньей смыкается с описанием семейного нагульновского достатка. Отец его был зажиточным казаком, имел четыре пары быков и пять лошадей. Посев у них был огромный, шестьдесят, семьдесят и до ста десятин, т.е. свыше ста двадцати гектаров. Свинья для Шолохова — удачный способ оторвать Макара от земли. Вся троица гремяченского руководства — чужаки крестьянскому делу. Даже Щукарь, правда во второй книге, позволяет себе дать им оценку: «Все идет по-новому, да все с какой-то непоняткой, с вывертом. Грехи наши тяжкие с такой неустроенной жизнью». О друге Макарушке, с которым пытается изучать английский язык, высказывается: «Он в восемнадцать года как выпрямился, будто железный аршин проглотил, так и понынче ходит прямой, важный, как журавель на болоте. Ни шуточки от него не услышишь, ни веселого слова, одна голая скука в штанах, а не человек...»

Как ни прятал Шолохов под колпак прокулацкие симпатии к мужикам хозяйственным, эти уши нет-нет да и проглядывали. Ярко и горько получились сцены раскулачивания. Это отметило руководство РАППа и потребовало вымарать. Но товарищ Сталин глядел дальше и глубже. Шолоховская ирония и сатира в адрес ошалевшей от чужого добра гольтыббы ему не казалась перебором. Главным оставался сам факт реквизиции имущества — он имел первостепенное значение. А шолоховская ирония могла толковаться двояко, в зависимости от классового подхода. Отдельные детали, не случайно вставленные автором, даже Сталина иногда коробили. Но он знал бедняцкую жадность до чужого и ничего не вымарал. Пускай гольтыбба тешится, хватая чужое, как свое. Он посмеивался, рассуждая как полководец, отдающий захваченный город сол-

датам на три дня на разграбление. Какое личное сочувствие он мог испытывать к косорокому мужичку Молчуну, содравшему со справного хозяина, т.е. кулака, Фрола Дамаскова новые, подшитые кожей валенки, черпающему столовой ложкой мед из ведерного железного бака, сладко жмурясь, причмокивал, роняя на бороду желтые тонкие капли. Сталина от такой подробности передернуло, и он, поджав губы, произнес: «Будет вам Юрьев день, колхознички». Он наперед знал, что говорил. Не попросил Шолохова не называть количество гремяченских бедняков, решающих судьбы кулаков. Этих вершителей чужой судьбы в казацком хуторе нашлось четырнадцать душ на двести шестьдесят крестьянских дворов. Мизерность цифры и смущала Сталина. Но он, как знаток русских пословиц, вспомнил подходящую: «Кто палку взял, тот и капрал».

Сталин, конечно, отметил положительное авторское отношение к скрытому врагу советской власти Якову Островнову. Как это у Шолохова случалось, он описывал Лукича не с позиции бедняка или советской власти, а со стороны зажиточного хлебороба. Мог бы не вскрывать отдельные моменты, а он, наоборот, выпячивал их, смаковал. Привел все поборы советской власти: и за дым из трубы, и скотину на базу; предъявлял, жалуясь Половцеву, квитки по годам за сданный хлеб, мясо, масло, кожи, шерсть, птицу — целыми бочками возил в заготконтору. Разводил руки: «Скоро этих квитков мешок наберу».

«...Хоть и не раз шкуру с меня снимали, а я опять же ею обростал». Подробно и тщательно преподносил Шолохов островновскую исповедь как жизнеописание настоящего хозяина. «Нажил спервоначалу пару быков, они подросли... Спустя время, к двадцать пятому году, подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы... Купил у соседки стригунка от чистых кровей донской кобылки. В округе получил на выставке награду и грамоту, как на племенную». Все, как видится, без обману, своим честным трудом. «Стал я к агрономам прислушиваться, начал за землей ходить, как за хорошей бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал, и снегозадержание делал... Пары у меня всегда первые. Словом, стал культурный хозяин и об этом имею похвальный лист».

На этом перечне Шолохов не останавливается. Он продолжает адвокатскую, доказательную речь через слова Островнова: «Первые годы сеял я пять десятин, потом, как оперился, начал дюжей хрип выгинать: по три, по пять и по семь кругов сея (круг — четыре гектара. — *Авт.*), во как! Работал я и сын с женой, ажник кутница вылазила — истинный Христос». Старался Лукич, как мог. Подсоблял советской власти, которой хлеб «дюже нужен». Что же оказалось: все его старания оборачивались для него петлей, как добившегося кулацкого достатка. Достала его советская власть, выкорчевала несовместимого с ней частника. Остается хлеборобу только плакаться, что приходит конец свободной жизни. «Наживал пригоршню мозолей да горб нажил, и теперь отдай добро в общий котел, и скотину, и хлеб, и птицу, и дом, стало быть... а другой — принесет вшей полный гашник. Сложимся мы с ним и будем барыш делить поровну... Он, может, всю жизнь на печи лежал да о сладком куске думал, а я... Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь, по моему старанию, первым человеком в хуторе был». Тонко, грамотно защищал Шолохов Лукича. Ни трудом батраков, ни обманом, ни землей под аренду, а своим старанием собирался Островнов стать первым хозяином в Гремячем. На все его обиды и жалобы Половцев отвечал кратко, исчерпывающе верно: «Крепостным возле земли будешь». Что на самом деле и случилось. Лишив крестьян паспортов, их вернули к 1861 году. Сталин огнесся к такому пророчеству спокойно. У Шолохова это произносит враг. А какая врагу вера? Кстати, Половцев у Шолохова выступает в роли провидца. Враг-то он враг, но высказывает подцензурные мысли. После разговора с казаками о сталинской статейке «Головокружение от успехов» он кричит почти в припадке: «Какой народ! Подлецы!.. Дураки, богом проклятые! Они не понимают того, что эта статья — чистый обман, маневр. И они верят... как дети. О! Гнусь земляная! Их, дураков, большой политики ради водят, как сомка на удочке, подруги им отпускают, чтоб до смерти не задушить, а они все это за чистую монету принимают...»

Время покажет правильность этих слов и хуторянам, и самому писателю, если он еще в этом отчасти сомневался. Правда, не в первой, но во второй книге «Поднятой целины» Щукарь оза-

дачивает Нагульнова беспросветным вопросом: «Почему личные коровы дают молока больше колхозных?» Это был вопрос вопросов. К моменту выхода в свет второго тома Шолохов зримо увидел плоды погромной коллективизации. В родном Вешенском районе, где происходили жаркие колхозные баталии, описанные в знаменитом романе, остался единственный колхоз, да и то рыболовецкий. Как депутат и член ЦК он не мог не знать о положении дел с колхозами по стране. Видел собственными глазами, как лет через пятнадцать после войны советские колхозники везли хлебные буханки из Миллерово. И не для откорма свиней, как писали газетки, а для собственного пропитания. Приезжая в Москву, он имел доступ к закрытым статотчетам. Просматривал сухие цифры, не хотел верить глазам. Морща ясный высокий лоб, мысленно чертыхался: «За что боролись? За что пухли и сотнями умирали голодной смертью? На кой ляд расправлялись, сгоняя с земли на лесоповал лучших из лучших хозяев-хлеборобов, его же собственных персонажей: Титка Бородина, Фрола Дамаскова, того же Островнова, вроде бы врага, ненавидящего колхоз, но «выходившего за хутор любоваться урожаем». Уже не собственным, своим, а чужим для него — колхозным.

«Поднятая целина», что писал, подсмеиваясь, но сквозь слезы, превращалась в могильное надгробие. Всей своей природной закваской он тянулся к двужильным хозяевам с задубевшими от труда руками. Но, прислушиваясь к товарищу Сталину, сочувствовал Майданниковым, Ушаковым, Молчунам, желая и им обильной жизни.

Просматривая статистику, вдруг вспомнил, как явился ему во сне вечный странник Харлампий с недобрым вопросом. Очень того интересовало, что прервал ночной сон: как пережили голодомор его любезные Любишкин с Майданниковым. Сколько сусликов поели да загнившей падали. Уцелели, дождавшись сталинских даров, или полегли под могильными крестами с «Поднятой целиной» в головах, по которой их отпевали. Получался печальный, как сказал бы Давыдов, факт, как с книгой Саша Фадеева «Черная металлургия». Старался, собирал материал, тоже по подсказке, не Сталина, а Маленкова, о рабочих-сталеварах, передовиках и зачинщиках прогрессивного опыта. Потом оказа-

лось, что по жизни все не так, а совсем наоборот. Почти то же, что с «Поднятой целиной». Бились, грабили людей, загоняли в колхозы. А в итоге — вывели под корень хозяйственного мужика, превратив крестьян в безразличных батраков. На приусадебном участке трудились для продажи, с колхозных участков тянули для себя. Шолохов помнил расхожий на Донщине анекдот: кто в селе имел мотоцикл с коляской — жил хорошо, кто «Победу» с прицепом — куда лучше. Статистику Шолохов переписал по годам, но спрятал подальше от глаз. На память он не жаловался — запомнил.

Если в 1960 году зерна ввозили 900 тысяч тонн, то через десять лет — в два раза больше, а в 1980 уже 14,7 миллиона тонн. Это в России, где зерно до революции было основным продуктом экспорта. Цифры импорта мяса валили с ног: в 1960 — 66,9 млн тонн, в 1970 — 165 млн тонн, в 1980 — 821 млн тонн. Сливочное масло тоже исчислялось в миллионах: 1960 — 4 млн тонн, в 1970 — 2,2 млн тонн, в 1985 — 2,49 млн тонн.

Он знал, что пароходы, груженные золотыми слитками, плывут через океан в Канаду, США, Австралию, Аргентину, рассчитываясь за «перегибы» коллективизации. А не была ли сама коллективизация одним сплошным «перегибом»? Не мог не засвидетельствовать вопросом автор «Поднятой целины». Он умер в 1984 году, за несколько лет до перестройки, и уже не узнал, что в 1991 году колхозникам разрешили выходить из колхозов с правом на надел земли. В разных областях он выглядел по-разному, но речь шла о гектарах. Итог оказался шокирующим. Желающих трудиться самостоятельно на земле практически не оказалось. Шестидесяти лет хватило, чтобы генетически уничтожить Островновых и Бородиных. Труженик и хозяин не совсем однозначное понятие. Точнее, практически разное. Майданников у Шолохова являл из себя старательного хлебороба, но без хозяйственной жилки. Такие мужики остались. Хозяева — на корню повывелись. Поэтому Россия, единственная в «восьмерке» передовых мировых держав, способная прокормить себя лишь на 50% спроса. А значит, при всем своем ядерном могуществе она зависимая величина. Шолохов увидел крах коллективизации. Но «Поднятую целину» продолжали преподносить как Евангелие

для слепых. Сам Михаил Александрович не обольщался своими главными персонажами — зная их истинную цену. Он долго не открывал карт. Встречался с рабочими-путловцами, из которых якобы появился Давыдов, считал Нагульнова чудиком, но «очень своим». Посмеивался с читателями над маргиналом Щукарем, не раскрывая его родственность Нагульнову. Когда дотошные критики спрашивали, почему он убил своих основных героев, пожимал плечами: для сочувствия их делу. Но позднее, после XX съезда, как-то открыто признался: «А их бы все равно убили — лет через пять». Все он понимал. Знал истинную цену времени. Но таил это глубоко в себе. Получив партбилет, он как бы дал определенную подписку оставаться в рамках дозволенного. Это никак не совмещалось с искренностью творчества и толстовским пониманием писательства. Сыну Михаилу с горечью объяснял: «Сколько умения надо иметь, чтобы говорить людям правду». Возникает единственный вопрос, о каком умении шла речь. Умении мастерства, как полнее и точнее правду выразить, или искусство совмещения ее с установками социализма, или философией горьковского Луки. Сам же мучительно признавался: «А вообще-то все это страшно сложно... И если думаешь, что у меня есть готовые ответы на все вопросы, глубоко ошибаешься. По крайней мере, я не взялся бы принародно рассуждать на эти темы, поучать кого бы то ни было. Я не Алексей Максимович. В отличие от него, я не считаю, что у меня университетов достаточно».

Разговор с сыном происходил на излете шолоховской жизни. Творчество было позади. Лучшие книги созданы. Он выстрадал горькие мысли, которые не тиражировал публично, но решился высказать сыну-ученому. Сидя, вычерчивая пальцами на столе то ли буквы, то ли цифры, придерживая папиросу в левой, брошенной на спинку стула руке. «Я всегда как-то побаивался поучать. Может, именно поэтому всю жизнь меня самого все больше поучают. Что такое социализм, что такое натурализм. Как понимать правду, как писать о ней...» Главным учителем Шолохова был Сталин. В отличие от коллег по цеху, он не учил его, как писать. Не водил шолоховским пером. К Шолохову относился корректно, деликатно, ува-

жал взвешенное авторское право. При встречах, беседуя, размышлял о жизни, политических моментах, истории, очередных задачах партии и государства. Фактически ненавязчиво обучал политграмоте, с которой «крупный писатель» был не в ладах. Учил по-сталински преподносить правду. Посмеиваясь, объяснял: «Дураку прямо в глаза можно сказать правду, что он дурак. Ну и что? Мы в основном имеем дело с недалекими людьми, малообразованными, полуграмотными, как ваш контуженый Нагульнов. Скажи ему прямо, что он дурак. Чего доброго, получишь пулю в лоб. Кому это надо? Но можно сказать ему это так, как это сделали вы, Михаил Александрович, что у него, пусть и слабенько, но дрогнет сердце. И захочется ему, дураку, хоть немного поумнеть и принести больше пользы нашему делу». Шолохову удалось написать роман о коллективизации в духе сталинского рецепта. Сатира не сатира, былина не былина. Как повернуть! Сталин, как говорится, заплотировал первым, за ним подхватили все кому следует, кроме подавляющей части крестьянства. Оно ответило массовыми восстаниями на Кубани и Дону. В год 1930-й, описанный в «Поднятой целине», в русских районах Северокавказского края произошло 1061 массовое крестьянское выступление. Они продолжались по март 1932 года, сократившись благодаря действиям армии и сил ОГПУ до 186. Отголоски коллективизации аукнулись в годы оккупации края в годы Отечественной войны: 94,5 тысячи казаков стали сотрудничать с немецкой армией.

Шолоховское умение, точнее искусство, говорить правду позволяло истолковывать роман по-сталински. Пока, наконец, опять же на исходе жизни, он не поставил все точки над «I». Причем сделал это однозначно, не оставляя никаких сомнений в своей оценке событий и персонажей. Говорил он не мельком, походя, а глядя в корень, поднимая вопрос о власти в целом. «А что же у нас после революции могло получиться? — задавался вопросом Шолохов. — Вся власть Советам? А кого в Советы? Это на плакатах хорошо. А ты с этим в хутор приди, к живым людям... Кто же будет от них депутатом? Если их самих спросить? Да уж, конечно, не дед Щукарь.

И не Макар с Разметновым, которые собственной семьи сложить не могут, в собственных куренях порядки не наведут. И в хозяйстве они ни черта не смыслят, потому как и не имели его никогда. Казаки так им и скажут: вы, мол, братцы, двум свиньям жрать не разделите, потому что у вас больше одной сроду не было, какие ж из вас советчики... А Яковов Лукичей и Титков нельзя... Вот и оказалось, кто с оружием завоевал эту власть, тому и властвовать... Но чтобы жизнь по-новому переделать, мало быть хорошими солдатами-ребятами. Строить, хозяйство налаживать... Да если кто-то из них и умел кое-что... И вот разнеслись эти герои революции по руководящим креслам. И в первую же минуту у каждого из них в голове: а что же делать-то? Знаний-то фактически никаких...»

Лучше шолоховского анализа большевистской сути трудно отыскать. И еще одна мысль, как похоронный аккорд: «...до сих пор никто там, наверху, по-настоящему не знает, что нужно делать, чтобы добиться высоких целей, какие перед всем народом поставили. А тем не менее любое самое пустячное дело — лишь с верховного благословения. А поэтому что ни новая команда, то для людей лишь новая, мягко говоря, обида». В середине XIX века Иван Сергеевич Тургенев написал роман о семействе помещиков Кирсановых и студенте-нигилисте Дмитрие Базарове. Роман вызвал повышенный интерес и бесконечные споры в

русском обществе. Большинство склонялось к тому, что автор развенчал старосветских помещиков Кирсановых и поставил на почетный пьедестал отрицателя сложившихся устоев. О Базарове говорили, его цитировали, ему следовали. Сам Тургенев в полемику активно не вмешивался, наблюдая, отделившись разъяснениями, что его заинтересовало новое поколение молодежи и он относится к нему с интересом, пониманием и сочувствием. Так бы оставался нигилист Базаров на почетном пьедестале, как его, по существу, последователи-ниспровергатели, шолоховские Нагульников, Разметнов и Давыдов, если бы Иван Сергеевич, отбросив авторский нейтралитет, высказался о своем герое однозначно: пустой, ничемный, бесполезный тип. Два великих писателя — помещик Тургенев и коммунист Шолохов — нашли общий язык.

□

Григорий ФУКС —

*член Союза писателей Санкт-Петербурга.
Родился в Одессе, школу окончил в Ленинграде,
педагогический институт в Петрозаводске.
Преподавал историю и литературу в школе.
Педагог, воспитатель, тренер
и международный арбитр по настольному теннису.
Работал журналистом в Астрахани и Карелии.
Автор сценариев для Центрального телевидения,
6 книг и несколько пьес.
С 1995 г. живёт в Лос-Анджелесе.*

